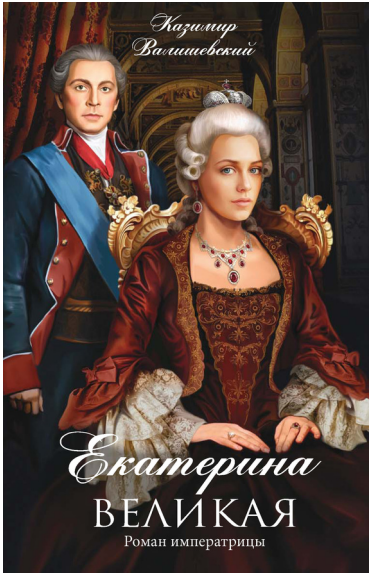




Казимир Феликсович Валишевский Екатерина Великая. Роман императрицы

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9519789

*Роман императрицы / Пер. с польск. под ред. А. Михайлова.: Бертельсманн Медиа Москва АО;
Москва; 2006*

ISBN 978-5-88353-634-1

Аннотация

Просвещенная монархиня, Северная Семирамида, мудрая Фелица – это всё о ней, царице Екатерине П. Державин и Ломоносов слагали ей оды, Карамзин прославил в «Истории Государства Российского», Дидро и Вольтер гордились ее дружбой, а Суворов вел в сражения полки с ее именем на устах...

Эта книга о великой Императрице, жившей во благо России: при ней строились города, открывались школы и университеты, расширялись границы государства, богатела казна, процветали науки и искусства.

Эта книга о непростой Личности – властной с сановниками и сердечной к людям, честолюбивой на престоле и снисходительной к ближним, непоколебимой в государственных делах и гибкой в политике, купавшейся в роскоши и аскетичной в быту, любившей самых красивых мужчин и менявшей любовников, как перчатки, но всегда остававшейся, даже для своих фаворитов, прежде всего Великой Государыней...

Выход книги приурочен к премьере художественного фильма «Екатерина Великая». Режиссер – Игорь Зайцев. В главной роли – Юлия Сنيгирь.

Содержание

Часть первая	4
Книга первая	4
Глава первая	4
Глава вторая	10
Глава третья	29
Книга вторая	49
Глава первая	49
Глава вторая	68
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Казимир Валишевский

Екатерина Великая. Роман императрицы

Часть первая Великая княгиня

Книга первая От Щецина до Москвы

Глава первая Немецкая колыбель. – Детство

I. Место рождения. – Щецин или Дорнбург? – Спорный вопрос об отце. – Фридрих Великий или Бецкий? – Дом принцев Ангальт-Цербстских.

II. Рождение Фигхен (Figchen). – Воспитание немецкой принцессы в восемнадцатом столетии. – Мадемуазель Кардель. – Путешествия и впечатления. – Эйтин и Берлин. – Предсказание.

III. Русско-немецкое свойство. – Русское влияние в Германии; соперничество немцев в России. – Потомство царя Алексея, привитое к двум германским стволам. – Гошитиния или Браунивейг. – Торжество Глизаветы; Петр Ульрих становится ее наследником. – Русский курьер в Цербсте.



Лет пятнадцать тому назад маленький уголок старинного немецкого городка был охвачен волнением: предполагалось построить в этой местности железную дорогу которая, по обыкновению, нарушала укоренившиеся привычки, разрушала старые дома и уничтожала сады, где гуляло несколько поколений подряд. Среди того, чему угрожало бессердечие инженеров, возбуждавшее отчаяние местных жителей, была липа весьма почтенного вида: она служила предметом специального культа и особенно жгучих сожалений. Все-таки железную дорогу провели. Липу не срубили, но выкопали из уголка земли, где она пустила корни, и пересадили в другое место. С целью оказать ей большой почет ее посадили напротив нового вокзала. Она проявила равнодушие к подобной чести и засохла. Из нее сделали два стола: один преподнесли королеве прусской Елизавете, другой – русской императрице Александре Федоровне. Жители Щецина называли эту липу «императорской» (Kaiserlinde); если верить их словам, она посажена немецкой принцессой, называвшейся тогда Софией Ангальт-Цербстской, а в просторечии Фигхен (Figchen). Принцесса охотно играла на большой городской площади с другими детьми; впоследствии – они так и не поняли, как это случилось, – она превратилась в императрицу всероссийскую, принявшую имя Екатерины Великой.

Екатерина действительно провела часть детства в этом старом померанском городке. Появилась ли она здесь на свет? Редко случалось, чтобы место рождения великих людей современной истории вызывало те же споры, что возникли в прежние времена вокруг колыбели Гомера. Следовательно, происшедшее в этой области относительно Екатерины принадлежит к особенностям ее судьбы. Ни в одной приходской книге в Щецине не сохранилось и следа ее имени. Тот же факт повторился и с принцессой Вюртембергской, супругой

Павла I, но ему можно подыскать объяснение: ребенка, вероятно, окрестил священнослужитель лютеранской церкви, ректор или президент, не причисленный к приходу. Однако нашлась заметка, выглядевшая подлинной и основательной и указывавшая на Дорнбург как место рождения и крещения Екатерины; и весьма серьезные историки приводили эти данные в связи с самыми странными предположениями. Дорнбург – родовая резиденция дома Ангальт-Цербст – Дорнбург, именно семьи Екатерины. Не жила ли там ее мать некоторое время около 1729 года и не приходилось ли ей часто встречаться с молодым принцем, которому едва исполнилось шестнадцать лет и он недалеко оттуда вел угрюмую жизнь в обществе своего мрачного отца? Немецкий историк Зугенгейм не побоялся указать на этого молодого принца, известного впоследствии под именем Фридриха Великого, как на «отца инкогнито Екатерины».

Письмо принца Христиана Августа Ангальт-Цербстского, официального отца Екатерины, по-видимому, лишает это смелое предположение всякого правдоподобия. Оно помещено 2 мая 1729 года, написано в Щецине, и принц объявляет в нем, что в тот же день, в два с половиной часа ночи, у него родилась дочь в этом городе. Эта дочь не может быть иная, чем та, о которой идет речь. Христиан Август не мог не знать, где родятся его дети, хотя, может быть, и недостаточно осведомлен, каким образом они появлялись на свет. Существуют еще и другие доводы. Ничем не доказано, что Дорнбург принимал в своих стенах мать Екатерины незадолго до рождения последней; скорее, даже вполне достоверно доказано обратное. Принцесса Цербстская, оказывается, провела часть 1728 года очень далеко и от Дорнбурга и от Щецина, а именно в Париже. Как известно, Фридрих никогда не был в Париже. Он даже чуть не заплатил головой за одно желание его посетить, как недавно рассказал историк Лависс со свойственным ему тонким талантом.

Но воображение историков, даже немецких, неиссякаемо. За отсутствием Фридриха в 1728 году в русском посольстве в Париже находился молодой человек, незаконный сын знатной семьи, несомненно посещавший принцессу Ангальт-Цербстскую. Следовательно, мы опять попали на след другого романа и другого предполагаемого отца. Этот молодой человек именовался Бецким и стал впоследствии знатым вельможей. Умер в Петербурге в очень преклонном возрасте; говорят, что, посещая этого старца, которого она окружала заботами и нежным попечением, Екатерина наклонялась над его креслами и целовала его руку. Этого оказалось достаточно для того, чтобы немецкий переводчик «Воспоминаний» Массона пришел к убеждению, которое мы, однако, не можем разделить. По этой логике, пожалуй, во всей истории восемнадцатого века не окажется ни одного знатного рождения, которое не давало бы пищи аналогичным предположениям.

Мы не станем их больше оспаривать. Женщина, носившая впоследствии имя Екатерины Великой, по-видимому, родилась в Щецине, и ее родители по закону и, насколько нам известно, и по природе были принц Христиан Август Цербст-Дорнбург и принцесса Иоанна Елизавета Голштинская, его законная супруга. Наступило время, как мы увидим, когда малейшее деяние этого ребенка, столь скромно вступившего в мир, отмечалось самыми достоверными числами; жизнь его прослежена день за днем, почти час за часом. Это послужило ей отмщением и вместе с тем мерилom пути, пройденного ею, яркой ее судьбы.

Но что представляло в 1729 году рождение маленькой принцессы Цербстской? Княжеская семья этого имени – одна из тех, которыми Германия кишела в то время, – являлась одной из восьми ветвей Ангальтского дома. До того времени, как неожиданное счастье озаорило его небывалым сиянием, ни одну из них не потревожило эхо славы. Вскоре окончательное пресечение всего рода подрезало эти зачатки известности. Не имев истории до 1729 года, Ангальт-Цербстский дом перестал существовать в 1793 году.

II

Родители Екатерины не жили в Дорнбурге. Заботы направили их в другое место. Отец ее (родился в 1690 году) вынужден зарабатывать свой хлеб и принужден поступить на службу в прусскую армию. Воевал с Нидерландами, Италией, Померанией, с Швецией и Францией. Тридцати одного года заслужил эполеты генерал-майора; тридцати семи лет женился на принцессе Иоанне Елизавете Голштин-Готторпской, младшей сестре того самого принца Карла, который чуть не сел на российский престол рядом с Елизаветой – в лице его она вечно оплакивала обожаемого жениха. В этом заключалось какое-то предопределение. Христиан Август, назначенный командиром пехотного Ангальт-Цербстского полка, должен отправиться в Щецин, чтобы принять командование. То была настоящая гарнизонная жизнь.

Христиан Август – образцовый супруг и отец. Он очень любил своих детей. Но, ожидая сына, был сильно разочарован, когда родилась Екатерина. Первые детские годы Екатерины омрачены этим. Когда принялись заниматься ее детством (а заинтересовались им впоследствии страстно), воспоминания свидетелей уже значительно потускнели. Сама она неохотно их освежала, отвечая с непривычной ей скрытностью на предлагаемые вопросы. «Я не вижу тут ничего интересного», – писала она Гримму, самому смелому своему вопрошателю. Впрочем, и ее воспоминания не отличались точностью. «Я родилась, – говорила она, – в доме Грейфенгейма, на Mariekirchenhof». Однако в Щецине нет и никогда не было такого дома. Командир 8-го пехотного полка жил на Dom-Strasse, в доме № 791, принадлежавшем председателю коммерческого суда в Щецине фон Ашерлебену. Квартал, где находилась эта улица, назывался Грейфенгаген (Greifenhagen). Дом переменил и номер и владельца. Он принадлежит теперь советнику Девицу и помечен номером один. На одной выбеленной стене замечается черное пятно – единственный след, оставленный пребыванием великой императрицы: то следы дыма от жаровни, зажженной 2 мая 1729 года у колыбели Екатерины. Сама колыбель исчезла, она находится в Веймаре.

Названная при крещении Софией Августой Фредерикой, в честь трех своих теток, Екатерина для всех просто Figchen, или Fichchen, как писала ее мать, – по-видимому, уменьшительное от Sophiechen. Вскоре после ее рождения родители переселились в щецинский замок, заняв левое его крыло, находившееся возле церкви. Фигхен отведены три комнаты; из них одна, ее спальня, – рядом с колокольной. Таким образом, ей представилась возможность подготовить свой слух к оглушительному трезвону православных церквей. Может быть, само Провидение это устроило! Там она росла и воспитывалась – весьма просто. Щецинские улицы действительно свидетельницы ее игр с местными детьми, несомненно и не думавшими величать ее по титулу. Когда матери этих детей посещали замок, Фигхен выходила им навстречу и почтительно целовала полы их платья. Таково было желание ее матери, имевшей иногда мудрые мысли. Это, впрочем, случалось с ней нечасто.

Однако у Фигхен много учителей, кроме особой, приставленной к ней гувернантки – конечно, француженки. В то время в каждом более или менее значительном немецком доме служили французские гувернеры и гувернантки – одно из косвенных последствий отмены Нантского эдикта. Преподавали французский язык, французские изысканные манеры и правила вежливости. Учили тому, что сами знали, а знали в большинстве только это. Таким образом у Фигхен появилась мадемуазель Кардель. Кроме того, у нее были французский капеллан Перо (Péraud) и учитель чистописания, тоже француз, Лоран (Laurent). Несколько местных учителей дополняли этот довольно обильный педагогический персонал. Некий Вагнер обучал Фигхен родному языку. Музыкой занимался с ней также немец, Религ (Roellig). Впоследствии Екатерина вспоминала первых воспитателей своей юности с чувством умиленной благодарности, но и с примесью некоторого шаловливого юмора. Она, однако же, отводила

особое место мадемуазель Кардель («знавшей почти все, хотя сама она никогда не училась, почти как и ее ученица»), говорившей, что у нее «неповоротливый ум», и каждый день напоминавшей, чтобы она опускала подбородок. «Она находила, что он необыкновенно длинен, – рассказывала Екатерина, – и думала, что, вытягивая его вперед, я рискую толкнуть им встречающих людей». Добрая мадемуазель Кардель, вероятно, не подозревала, какие встречи выпадут на долю ее ученицы! Однако она не только выправляла ее ум и заставляла опускать подбородок: она давала ей читать Расина, Корнеля и Мольера и отвоевывала ее у немца Вагнера, его немецкой педантичности, его померанской неповоротливости и от нелепости его «Prüfungen»¹, оставивших по себе ужасное впечатление в душе Екатерины. Несомненно, она сообщила ей и долю своего ума – ума парижанки, сказали бы мы сегодня, – живого, острого и непосредственного. А еще, по-видимому, оказала неоценимую услугу, спасая от матери. Не только от пощечин, расточаемых будущей императрице по каждому самому пустячному поводу, повинувшись «не разуму, а настроению», а, главное, от духа, присущего супруге Христиана Августа. Она им заражала всех окружающих – мы с ним познакомимся впоследствии. То был дух интриги, лжи, низких инстинктов, мелкого честолюбия, отражавшего целиком душу нескольких поколений германских мелких князьков. В общем, мадемуазель Кардель вполне заслужила меха, присланные ей ученицей по приезду в Петербург.

Важным дополнением к обставленному таким образом воспитанию служили частые путешествия Фигхен и ее родителей. Жизнь в Щецине не представляла ничего привлекательного ни для молодой женщины, жаждавшей веселья, ни для молодого полкового командира, изъездившего пол-Европы. Поэтому предлоги к путешествиям всегда принимались с радостью, а их находилось немало при наличии большой семьи. Ездили в Цербст, Гамбург, Брауншвейг, Эйтин, встречая всюду родных и не роскошное, но в общем радушное гостеприимство. Доезжали и до Берлина. В 1739 году принцесса София впервые увидела в Эйтине того, у кого ей суждено отобрать престол. Петру Ульриху Голштинскому, сыну двоюродного брата ее матери, тогда было одиннадцать лет, а ей – десять.

Эта первая встреча, прошедшая незаметно, не произвела на Фигхен благоприятного впечатления. По крайней мере, так она утверждала впоследствии в своих воспоминаниях. Он показался ей тщедушным. Ей сообщили, что у него скверный характер и – кажется почти невероятным – он имеет уже пристрастие к спиртным напиткам.

Другое путешествие как будто оставило более глубокий след в ее молодом воображении. В 1742 и 1743 годах в Брауншвейге, у вдовствующей герцогини, воспитавшей ее мать, католический каноник, занимавшийся хиромантией, рассмотрел на ее руке три короны и не увидел ни одной на руке хорошенькой принцессы Бевернской, которую в то время старались выгодно выдать замуж. В поисках мужа наткнуться на корону – вот в чем состояла общая мечта всех этих немецких принцесс!

В Берлине Фигхен увидела Фридриха, но он не обратил на нее внимания, а она в свою очередь им не занималась. Он – великий король на пороге великой карьеры, она лишь девочка, по-видимому предназначенная украшать собой микроскопический двор, затерянный в каком-нибудь уголке империи².

В общем таковы воспитание и вступление в жизнь всех немецких принцесс того времени. Впоследствии Екатерина не без некоторой рисовки подчеркивала пробелы и недостатки этого воспитания. «Что ж, – говаривала она, – меня воспитывали с тем, чтобы я вышла замуж за какого-нибудь мелкого соседнего принца, и соответственно этому меня и учили всему, что тогда требовалось. Ни я, ни мадемуазель Кардель ничего этого не ожидали». Баро-

¹ «Экзамена» (нем.).

² В архиве Зимнего дворца сохранились воспоминания Екатерины об этом периоде своей жизни, написанные ею и отданные графине Брюс. В царствование Николая I граф Д. Н. Блудов, председатель Государственного совета, отыскал их (см.: Бильбасов В. А. История Екатерины II. Т. 1. СПб., 1890. С. 1–4).

несса Принтен, статс-дама принцессы Цербстской, говорила не обинуясь, что, пристально следя за ходом учения и успехами будущей императрицы, не обнаружила в ней никаких особенных качеств и дарований. Предполагала, что Екатерина будет «заурядной женщиной». Мадемуазель Кардель также не подозревала, по-видимому, что, поправляя тетради своей ученицы, служит, как однажды выразился восторженный Дидро, «подсвечником, носящим свет ее эпохи».

III

Однако в этой скромной жизни есть нечто, что приближало принцессу Софию к ее будущей судьбе. Она лишь маленькая немецкая принцесса, воспитывавшаяся в маленьком немецком городке, окруженном жалкой, печальной, несчастной действительностью. Но близкое соседство отбрасывало на него гигантскую тень, похожую на привидение или чарующий мираж. В этой провинции еще незадолго до того по городу расхаживали солдаты, демонстрируя странные мундиры и нарождающийся престиж державы, а недавно Россия появилась в Европе и внушала уже удивление и ужас, возбуждала беспредельные опасения или надежды. В самом Щецине подробности осады, которую недавно пришлось выдержать от великого Белого царя, оставались у всех в памяти. В семье Фигхен Россия, огромная и таинственная Россия, ее бесчисленное войско, неисчерпаемые богатства, самодержавные государи служили постоянной темой домашних разговоров, к которым присоединялась, может быть, и некоторая доля вожделений и даже смутное предчувствие. Почему бы и нет? Вследствие браков, соединивших дочь Петра I с принцем Голштинским, внуку Иоанна, брата Петра, с герцогом Брауншвейгским, целая сеть взаимных нитей и притяжений образовалась между великой северной державой и многочисленным племенем хилых немецких княжеств. Семья Фигхен оказалась особенно втянутой в эту сеть. Когда в 1739 году, в Эйтине, Фигхен встретила своего троюродного брата Петра Ульриха, она узнала, что мать его – русская царевна, дочь Петра Великого. Узнала и историю другой дочери Петра Великого, Елизаветы, едва не ставшей невесткой ее матери.

Вдруг разнеслась весть о восшествии на престол этой самой принцессы, печальной невесты принца Карла Августа Голштинского. Девятого декабря 1741 года Елизавета посредством одного из переворотов, становившихся частыми в истории северной дворцовой жизни, положила конец царствованию малолетнего Иоанна Брауншвейгского и регентству его матери. Каков же отклик этого события в семейном кругу, где росла Екатерина! Разлученная жестокою судьбой с избранным ею супругом, новая императрица сохранила трогательное воспоминание не только о молодом принце, но и о всей его семье. Незадолго еще до того она просила прислать портреты братьев покойного принца. Очевидно, не могла забыть и его сестру. В то время мать Фигхен, несомненно, припомнила предсказание каноника-хироманта. Как бы то ни было, она не замедлила написать двоюродной сестре и принести ей свои поздравления. Ответ на них способен поощрить нарождающиеся надежды. Елизавета ответила не только любезно, но и нежно, объявляя себя очень тронутой вниманием, и просила прислать портрет своей сестры, принцессы Голштинской, матери принца Петра Ульриха. Собирала, по-видимому, коллекцию портретов. Не крылось ли в этом какое-то таинственное указание?

Тайна вдруг раскрылась. В январе 1742 года принц Петр Ульрих – «чартушка», как обыкновенно звала его императрица Анна Иоанновна, которую беспокоило его слишком близкое родство с русским царствующим домом, – маленький троюродный брат, мельком виденный Фигхен, исчез из Киля и появился через несколько недель в Петербурге: Елизавета вызвала его, чтобы объявить своим наследником.

Это событие не оставляло места сомнениям. В России, бесспорно, взяла верх голштинская кровь, кровь матери Фигхен, и восторжествовала она над брауншвейгской кровью. Голштиния или Брауншвейг, потомство Петра Великого или потомство его старшего брата Иоанна, умерших без прямых наследников мужского пола, – вся история русского царствующего дома с 1725 года заключалась в этой дилемме. По-видимому, торжествовала Голштиния, и тотчас же счастье нового императорского принца, едва установившись, начало отражаться на его скромных родственниках в Германии. Лучи его достигли и Щецина. В июле 1742 года отец Фигхен был возведен Фридрихом в чин фельдмаршала – любезность, по-видимому, по адресу Елизаветы и ее племянника. В сентябре секретарь русского посольства в Берлине привез самой принцессе Цербстской портрет государыни, обрамленный великолепными бриллиантами. В конце того же года Фигхен отправилась с матерью в Берлин, где знаменитый французский художник Пэн написал ее портрет. Фигхен знала, что этот портрет отправят в Петербург, где любоваться им будет не одна императрица.

Однако целый год прошел без каких-либо решительных событий. В конце 1743 года вся семья собралась в Цербсте. Вследствие пресечения старшей ветви незадолго перед тем цербстский престол перешел во владение родного брата Христиана Августа. Весело отпраздновали Рождество среди небывалого комфорта и веселых предположений насчет будущего, не говоря уже о более смелых мечтаниях. Не менее весело начали и Новый год – эстафета, прискакавшая во весь опор из Берлина, заставила вскочить со стульев не только порывистую Иоанну Елизавету, но и ее более сдержанного супруга. На этот раз оракулы оказались правы – хиромантия торжествовала блестящую победу: эстафета привезла письмо от Брюммера, гофмейстера великого князя Петра, бывшего Петра Ульриха Голштинского. Письмо это, адресованное Иоанне Елизавете, приглашало ее немедленно пуститься в дорогу вместе с дочерью, с тем чтобы посетить императорский двор либо в Петербурге, либо в Москве.

Глава вторая

Прибытие в Россию. – Свадьба

I. Выбор будущей императрицы. – Соперничество и интриги. – Роль Фридриха II.

II. Отъезд в Россию. – Путешествие. – От Берлина до Риги. – Россия обрисовывается. – Поезд родственницы императрицы. – Императорские сани. – Приезд в Петербург.

III. От Петербурга до Москвы. – Прием Елизаветы. – Уверенность в успехе. – Политические предприятия принцессы Цербстской. – Борьба с Бестужевым.

IV. Великий князь. – Воспитание кандидата на престол России и Швеции. – Два немецких преподавателя – Брюммер и Штелин. – Дебют Фигхен. – Она учится русскому языку. – Болезнь и выздоровление. – Религиозный вопрос. – Пастор или русский священник?

V. Мать Фигхен намеревается управлять Россией. – Непредвиденная опасность. – В Троице-Сергиевой лавре. – Катастрофа. – Отозвание Шетарди. – Торжество Бестужева. – Портрет Елизаветы.

VI. Обращение принцессы Софии в православную веру. – Сопроотивление Христиана Августа. – Публичное исповедание. – Обручение. – Екатерина Алексеевна. – Путешествие в Киев. – Мать и дочь. – Жених и невеста. – Болезнь великого князя. – Жизнь в Петербурге. – Граф Гилленбург. – Пятнадцатилетний философ.

VII. Свадьба. – Церковные и придворные торжества. – Апартаменты новобрачных. – Морская церемония: «дедушка русского флота». – Отъезд принцессы Цербстской.

I

Брюммер – старинный знакомый принцессы Иоанны Елизаветы. Как гувернер великого князя, он, по всей вероятности, сопровождал своего воспитанника в Эйтин. Письмо его пространно и исполнено подробных указаний. Принцессе следует собраться возможно скорее; свита ее, сокращенная до минимума, должна состоять из одной статс-дамы, двух горничных, одного офицера, повара и двоих или троих лакеев. В Риге ее ожидает приличная свита, которая и проводит до места пребывания двора. Мужу строго воспрещено ее сопровождать. Ей надлежит хранить цель своего путешествия в глубокой тайне. На расспросы следует отвечать: едет к императрице, с тем чтобы поблагодарить ее за оказанные милости. Ей разрешалось, однако, открыться Фридриху II – ему все уже известно. К письму приложен чек на имя одного берлинского банкира, предназначенный на покрытие путевых расходов. Сумма скромная – десять тысяч рублей, но, по словам Брюммера, важно не возбуждать подозрений присылкой более значительного куша. Переступив границу России, принцесса ни в чем нуждаться не будет.

Разумеется, Брюммер посылает это приглашение, похожее на приказание, и властные инструкции от имени императрицы. Впрочем, он не пояснял намерений государыни. Другой человек взял на себя этот труд. Через два часа после приезда первого курьера прискакал второй и привез письмо от прусского короля. Фридрих все объяснял. Впрочем, приписывал себе решение, принятое Елизаветой, остановившей свой взор на молодой принцессе Цербстской. Он в это дело действительно вмешался, и вот каким образом.

Матримониальные вожделения, конечно, не замедлили возгореться вокруг «чертушки», ставшего наследником лучезарной короны. Тут и бывший гувернер великого князя немец Брюммер, и лейб-медик императрицы француз Лесток. Каждое значительное лицо, игравшее определенную роль при дворе, который превосходил по интригам все дворы Европы, имело свою кандидату и партию, ее поддерживавшую. Заходила поочередно речь о французской и саксонской принцессах, дочери польского короля, о сестре короля прусского. Саксонский проект, поддерживаемый всемогущим канцлером Бестужевым, имел одно время наибольшие шансы на успех.

«Саксонский двор, – писал впоследствии Фридрих, – будучи раболепным слугой России, намеревался пристроить принцессу Марианну, вторую дочь польского короля, с целью усилить свое влияние... Русские министры, настолько алчные, что, кажется, способны торговать самой императрицей, продали преждевременно свадебный контракт: получили щедрые дары, а король польский – лишь слова...»

Принцесса Саксонская, шестнадцати лет от роду, тщательно воспитанная, представляла подходящую партию; к тому же этот брак мог послужить основанием обширной комбинации, имевшей целью, согласно замыслам Бестужева, объединить Россию, Саксонию, Австрию, Голландию и Англию, то есть три четверти Европы, против Пруссии и Франции. Эта комбинация не удалась, и неудаче ее всеми силами способствовал Фридрих. Однако он отказался расстроить эти планы кандидатурой своей сестры принцессы Ульрики, которая пришлась бы по вкусу Елизавете. «Жестоко, – говорил он, – принести в жертву эту принцессу». На некоторое время он предоставил своего посланника Мардефельда его собственным, довольно ограниченным силам и силам его французского коллеги де ла Шетарди, также не особенно значительным в то время. Мардефельд находился в немилости с некоторыми пор, и Елизавета подумывала даже заставить его отозвать. Что касается де ла Шетарди, то, сыграв значительную роль при восшествии на престол новой императрицы, он сделал ошибку и не сохранил за собой завоеванного положения. Он оставил свой пост и, вернувшись на него, не нашел уже прежних привилегий. Впрочем, французское правительство его не под-

держивало и заставляло поминутно требовать инструкций. Он даже спрашивал себя: может быть, король все так же настроен против сделанных им после восшествия на престол императрицы намеков на возможность брака великого князя с одной из сестер короля?

Однако Фридрих не дремал. Мысль об отправке в Петербург портрета, написанного Пэнном в Берлине, исходила от него. Одному из братьев матери Фигхен, принцу Августу Голштинскому, поручили преподнести его царице. Портрет, по-видимому, неважный – Пэн уже состарился. Однако он пришелся по вкусу императрице и ее племяннику. В решительную минуту, в ноябре 1743 года, Мардефельд получил приказание без колебаний выдвинуть на роль невесты принцессу Цербстскую или, если она не понравится, одну из принцесс Гессен-Дармштадтских. Не пользуясь личным влиянием, прусский агент и его французский коллега решили заручиться помощью двух упомянутых нами лиц, Брюммера и Лестока, и, по свидетельству де ла Шетарди, результатом этого союза стала победа. «Они представили государыне, что принцесса из влиятельного дома не окажется достаточно покладистой... Они также ловко воспользовались некоторыми духовными лицами, чтобы внушить ее величеству, что вследствие незначительного различия между обеими религиями католическая принцесса будет опаснее и в этом смысле». Может быть, орудую дальше в этом направлении, они подчеркнули и наличие сговорчивого отца в лице принца Цербстского, который, по словам Шетарди, «был славным малым сам по себе, хотя и необыкновенно ограниченным». Словом, в первых числах декабря Елизавета поручила Брюммеру написать письмо, взволновавшее несколько недель спустя мирный двор, где Екатерина росла под строгим надзором мадемуазель Кардель.

II

Сборы принцессы Елизаветы и ее дочери своею поспешностью удовлетворили бы Брюммера. Никто и не думал о составлении приданого для Фигхен. «Два или три платья, дюжина сорочек, столько же чулок и носовых платков» – вот все, что она взяла из родительского дома. Раз обещано, что в России ни в чем недостатка не будет, к чему тратить? Впрочем, и времени на то нет. Фридрих и Брюммер слали письмо за письмом, настаивая на скором отъезде. Между тем торопить принцессу Иоанну Елизавету незачем. «Ей недостает только крыльев, чтобы скорее лететь», – писал Брюммер Елизавете. Впрочем, по-видимому, принцесса и не намеревалась окружать особенным блеском первое появление своей дочери в России. Перечитывая ее переписку с Фридрихом в ту минуту, удивляешься, как мало внимания она уделяла будущей великой княгине. Возникает вопрос: действительно ли речь идет о свадьбе Фигхен и предпринимаемое путешествие в Россию имеет ли в самом деле эту цель? Можно усомниться. Иоанна Елизавета едва даже намекает на это. Главным образом думает о себе, о возникающих в голове великих планах, которые она намеревается развернуть на достойной ее умения арене, об услугах, которые собирается оказать своему державному покровителю и за которые, как будто загодя, требует достойного вознаграждения. В этом смысле намеревалась она действовать и в Петербурге и в Москве.

Знала ли Фигхен, о чем шла речь и в каких целях, добрых или дурных, ей приказывали укладываться? Этот пункт спорный. Несомненно, догадывалась, что путешествие не простая экскурсия, подобно предпринятым ранее в Гамбург или Эйтин. Продолжительность и горячность споров между отцом и матерью перед отъездом, необычайная торжественность проводов и прощание дяди, принца Иоанна Людвига, даже небывало роскошный подарок (великолепная голубая материя, затканная серебром), которым он сопровождал последние свои излияния, – все это предвещало необыкновенные события.

Отъезд состоялся 10 или 12 января 1744 года, без каких-либо инцидентов. В ратуше в Цербсте до сих пор еще показывают чашу, из которой будто бы принцесса Иоанна Елизавета

пила за здоровье именитых граждан, торжественно собравшихся, чтобы пожелать ей счастливого пути. Вероятно, это лишь легенда. Однако в минуту отъезда случилось одно происшествие. Нежно поцеловав дочь, принц Христиан Август вручил ей толстую книгу, с просьбой тщательно беречь и добавив с таинственным видом, что ей вскоре придется к этой книге прибегнуть. Одновременно передал и жене рукопись, с тем чтобы отдала ее дочери, после того как сама прочтет и тщательно обдумает содержание. Книга эта – трактат Гейнекция о греческой религии. Рукопись, плод ночных размышлений Христиана Августа, озаглавлена «Pro temotia»; он пытался выяснить в ней вопрос: может ли Фигхен каким-нибудь образом стать великой княгиней, не меняя религии? Это главная забота Христиана Августа и предмет супружеских споров, привлечших внимание Фигхен и сопровождавших приготовления к отъезду. Христиан Август оказался непоколебимым в этом вопросе, меж тем как Иоанна Елизавета гораздо более склонна признать необходимость, нераздельную с новой судьбой дочери. Почему-то отец Фигхен пожелал лично дать дочери оружие против искушений, оскорблявших его. Труд Гейнекция и долженствовал служить этой цели.

То была тяжелая крепостная артиллерия. «Pro temotia» заключала соображения и советы другого порядка, в которых отражались практический ум, свойственный самым возвышенным немецким душам, и мелочные привычки двора, подобного цербстскому или щецинскому. Она советовала будущей великой княгине оказывать крайнее уважение и беспрекословное повиновение тем, от кого зависела отныне ее судьба; превыше всего ставить желания супруга; избегать слишком интимного сближения с кем бы то ни было из окружающих лиц. В приемных залах не разговаривать ни с кем в отдельности. Беречь свои карманные деньги, дабы не подпасть под власть гофмейстерины. Наконец, в особенности не вмешиваться в дела управления. Все это изложено на жаргоне, представляющем любопытный образчик обычного языка эпохи, того немецкого языка, который Фридрих презирал не без причины, судя по следующему отрывку: «Nicht in familiarité oder badinage zu entriren, sondern allezeit einigen égard sich conserviren. In keine Regie-rungssachen zu entriren, um den Senat nicht aigriren». И так далее.

Два месяца спустя Фигхен горячо благодарила отца за эти «милостивые советы». Увидим дальше, как она ими воспользовалась.

В Берлине, где обе принцессы остановились на несколько дней, будущая императрица последний раз в жизни увидела Фридриха Великого. В Шведтена-Одере она распрощалась навеки с отцом, сопровождавшим их до этого города. Он вернулся в Щецин, а Иоанна Елизавета направилась через Штаргарт и Мемель в Ригу. Путешествие, в особенности в то время года, не представляло ничего приятного. Снег не шел, но острый холод заставлял обеих женщин закрывать лица маской. Не было комфортабельных пристанищ для отдыха. Приказания Фридриха, отрекомендовавшего графиню Рейнбек – принцесса путешествовала под этим именем – прусским почтмейстерам и бургомистрам, не могли ничего изменить к лучшему. «Так как комнаты в почтовых домах не отапливались, то приходилось ютиться в комнате самого почтмейстера, ничем не отличавшейся от свиного хлева: муж, жена, сторожевой пес, куры, дети спали вповалку в колыбелях, в кроватях, за печами, на матрацах». После Мемеля – еще хуже. Не встречалось даже почтовых дворов. Приходилось обращаться к крестьянам, чтобы достать лошадей, а их надо двадцать четыре для четырех тяжелых дорожных карет, везших принцесс и свиту. К каретам в предвидении снега, который мог явиться по мере движения на север, привязаны сани. Внешний вид поезда представлял, таким образом, живописное зрелище, зато затруднялось его движение. Двигались медленно. Фигхен успела даже расстроить себе желудок местным пивом.

В Митаву приехали 5 февраля в совершенном изнеможении. Там их встретили лучше, и гордость Иоанны Елизаветы, тайно уязвленная вынужденной близостью к почтмейстерам, впервые получила удовлетворение. В Митаве русский гарнизон, и командир, полковник

Воейков, постарался принять как можно лучше столь близкую родственницу государыни. На следующий день уже приехали в Ригу.

Сцена внезапно переменилась, будто в феерии. Письма принцессы к мужу дают восторженные описания этого неожиданного превращения: гражданские и военные власти, с вице-губернатором князем Долгоруковым во главе, встретили ее у въезда в город; другой вельможа, Семен Кириллович Нарышкин, бывший послом в Лондоне, привез парадную карету; по дороге во дворец гремели пушки и т. д. И какая роскошь в замке, уготованном для приема дальних гостей! Великолепно меблированные комнаты, часовые у всех дверей, курьеры на всех лестницах, барабанный бой во дворе. Ярко освещенные залы полны народу; придворный этикет, целование рук и низкие реверансы; обилие великолепных мундиров, чудных нарядов, ослепительных бриллиантов; бархат, шелк, золото, невероятная, невиданная дотоле роскошь кругом... Иоанна Елизавета чувствует, что голова ее кружится, все это кажется сном.

«Когда я иду обедать, – пишет она, – раздаются звуки трубы; барабаны, флейты, гобой наружной стражи оглашают воздух своими звуками. Мне все кажется, что я нахожусь в свите ее императорского величества или какой-нибудь великой государыни; я не могу освоиться с мыслью, что это для меня, для которой в иных местах едва бьют в барабаны, а в иных местах и этого не делают». Однако она охотно все принимает и всей душой наслаждается. Что касается Фигхен, нам неизвестно, какое впечатление произвела на нее картина могущества и роскоши, внезапно раскинувшаяся перед ней. Но, несомненно, оно глубокое. Россия, великая, таинственная Россия, являлась ей и заставляла предвкушать будущее великолепие.

Девятого февраля снова пустились в путь. Поехали в Петербург, где по желанию государыни им следовало остановиться на несколько дней, а затем уже ехать к ней в Москву. Принцессы должны были воспользоваться пребыванием в столице, чтобы приспособить свои туалеты к общепринятой моде. Со стороны Елизаветы это деликатный прием, чтобы исправить угаданные или сообщенные заранее недостатки в гардеробе Фигхен. Несомненно, будущая великая княгиня, со своими тремя платьями и дюжиной сорочек, играла бы плачевную роль при дворе, являвшемся средоточием роскоши. Сама государыня имела пятнадцать тысяч шелковых платьев и пять тысяч пар башмаков! Екатерина безбоязненно вспоминала впоследствии о бедности, сопровождавшей ее в новое отечество. В то время она полагала, что уже уплатила свой долг.

Само собой разумеется, что в Митаве остались тяжелые немецкие дорожные кареты. Другой поезд должен везти обеих путешественниц по дороге к новому счастью. Принцесса Цербстская описывает его следующим образом: «1 – отряд лейб-кирасир его императорского высочества, именуемый голштинскими полками, под командой поручика; 2 – камергер князь Нарышкин; 3 – шталмейстер; 4 – офицер лейб-гвардии Измайловского полка; 5 – метрдотель; 6 – кондитер; 7 – не знаю уже, сколько поваров и их помощников; 8 – ключник и его помощники; 9 – человек для кофе; 10 – восемь лакеев; 11 – два гренадера лейб-гвардии Измайловского полка; 12 – два фурьера; 13 – не знаю, сколько саней и конюхов... Среди саней есть сани, которыми пользуется ее императорское величество, так называемые *les linges* (sic!)³. Они ярко-красные, украшены серебром, опушены внутри куньим мехом. Устланы шелковыми матрасами и такими же одеялами, поверх них лежит одеяло, присланное мне вместе с шубами, – подарок императрицы, привезенный Нарышкиным. Я буду лежать в этих санях во весь рост вместе с дочерью. У мадам Кайн (статс-дама принцессы) менее красивые сани, она едет совсем одна». Далее Иоанна Елизавета еще более восторгается совершенствами чудесных императорских саней: «Они по форме очень длинные; верх напоминает верх наших

³ Можно перевести с фр. как «бельевые» (*linge* – белье). Однако, видимо, в тексте ошибка. Скорее, они должны называться «*les lignes*», то есть «линейные» или «линейка». Такое название саней действительно существовало. (Примеч. ред.)

немецких экипажей. Обиты красным сукном с серебряными галунами. Низ устлан мехом; на него положены матрасы, перины и шелковые подушки; а сверх всего этого разостлано очень чистое атласное одеяло, на которое и ложишься. Под голову кладут еще другие подушки, а покрываются подбитым мехом одеялом; таким образом, оказываешься совсем как в постели. Кроме того, длинное расстояние между кучером и задком служит еще и для других целей и полезно в том отношении, что по каким бы ухабам мы ни ехали, не чувствуется вовсе толчков; дно саней представляет ряд сундуков, куда кладешь что угодно. Днем на них сидят лица свиты, а ночью люди могут лечь на них во весь рост. Они запряжены шестью лошадьми парами, опрокинуться они не могут... Все это придумано Петром Великим».

Елизаветы не было в Петербурге с 21 января. Все же в столице находилось еще много лиц, принадлежавших ко двору, и часть дипломатического корпуса. В то время путешествие в Москву представляло целое событие. Приходилось брать в дорогу не только людей, но и часть мебели. Отъезд государыни перемещал до ста тысяч человек и целый квартал города. Впрочем, французский и прусский посланники не позволили никому опередить их у обеих принцесс – оба поспешно отправились к ним. Таким образом, принцесса Цербстская оказалась окруженной атмосферой искательства, почтения, чрезмерной лести, в которой уже проглядывали интриги и страстное соперничество. Она оказалась в своей стихии и сладострастно погрузилась в нее, делая приемы, давая аудиенции с утра до вечера, приглашая «на партию» выдающихся знатных людей и приучаясь к более сложной игре в политику. Через неделю она сильно утомилась. Дочь оказалась выносливее. «Figchen southenirt die Fatigue besser, als ich»⁴, – писала принцесса мужу. Добавляла и следующую черточку, где проглядывает уже характер будущей Семирамиды: «Величие всего окружающего поддерживает мужество Фигхен».

Величие! Действительно, эта черта как будто сильнее всего занимает ум пятнадцатилетней девочки в минуты, когда перед ней раскрывается тайна ожидающей ее судьбы. Позднее, находясь на вершине своей удивительной карьеры, она сохранила как бы следы ослепления и опьянения горизонтами, развернувшимися перед ней в то время. Вместе с тем она узнает, из чего соткано это величие и как оно достигается. Ей показывают казармы, из которых Елизавета отправилась завоевывать престол; она видит и суровых гренадеров Преображенского полка, сопровождавших государыню в ночь 5 декабря 1741 года. Эти наглядные уроки запечатлеваются в ее пытливом уме.

В уме ее матери, однако, к упоению настоящей минуты иногда примешивается и некоторая тревога. Сквозь расточаемые ей комплименты и похвалы до ее ушей доходят некоторые сдержанные предупреждения и скрытые угрозы. Всемогущий Бестужев все еще противится предполагаемому браку и не складывает оружия. Он рассчитывает на епископа Новгородского Амвросия Юшкевича, оскорбленного слишком близким родством между великим князем и принцессой Софией и, по слухам, подкупленного саксонским двором (тысяча рублей).

Влияние его значительное. Но Иоанна Елизавета мужественна. Две причины, стоящие аргументов всех ее противников, поддерживают самоуверенность и веру в успех: во-первых, необыкновенное легкомыслие характера, вследствие чего она сама называет себя «игривым духом», и мнение о себе, о своих способностях к интриге и умении преодолевать самые большие препятствия. В чем, собственно, дело? В победе над оппозицией недоброжелательного министра. К тому имелось средство, о котором говорено ею с Фридрихом при проезде через Берлин; оно состояло в том, чтобы устранить оппозицию, удалив самого министра, – «свергнуть Бестужева». Фридрих давно уже подумывал об этом. Что ж, она свергнет Бестужева, как только приедет в Москву! Брюммер и Лесток ей в этом помогут.

⁴ «Фигхен переносит усталость лучше, чем я» (искаж. нем. и фр.).

III

Это путешествие ничем не походило на путешествие из Берлина в Ригу. Почтовые дворы по дороге напоминают скорее дворцы. Сани летят по твердому снегу. Едут день и ночь, чтобы приехать в Москву 9 февраля, к дню рождения великого князя. На последней заставе, в семидесяти верстах от Москвы, в знаменитые сани, придуманные Петром Великим, впрягают шестнадцать лошадей и за три часа сжигают это пространство. Головокружительный бег, однако, чуть не прерван несчастным случаем: проезжая одну деревню во весь дух, тяжелые сани, везомые шестнадцатью лошадьми и еще раз везущие счастье России, ударяются об угол избы. От толчка два толстых деревянных бруса отрываются от покаты крыши и, скатившись с нее, чуть не убивают обеих принцесс. Один из них ударяет Иоанну Елизавету по груди, но шуба, в которую она закутана, ослабляет удар. Дочь ее даже не проснулась. Два гренадера Преображенского полка, сидевшие на козлах, лежат в снегу с окровавленными головами и поломанными членами. Жителям села предоставляют их поднять, стегают лошадей и в восемь часов вечера останавливаются у деревянного Головинского дворца, обитаемого государыней.

Елизавета, снедаемая нетерпением, встала за двойными шпалерами придворных, выстроившихся для встречи прибывших гостей. Ее племянник, еще более нетерпеливый, нарушает этикет и спешит в их апартаменты, где, не дав принцессам даже снять шубы, приветствует их самым нежным образом (*auf tendreste*). Вскоре они являются императрице, свидание проходит самым лучшим образом. Оно даже оттенено ноткой умиления, являющейся счастливым предзнаменованием. Внимательно взглядевшись в мать будущей великой княгини, императрица поворачивается и поспешно выходит. Оказывается, она хочет скрыть слезы, так как черты лица принцессы напомнили ей ее неутешную скорбь. Впрочем, принцесса, следуя совету Брюммера, не преминула поцеловать руку императрицы, а Елизавета чувствительна к знакам чрезвычайного почтения.

На следующий день Фигхен и ее мать одновременно производятся в кавалерственные дамы ордена святой Екатерины – по просьбе великого князя, как уверяет их Елизавета. «Моя дочь и я живем как королевы», – пишет принцесса Цербстская мужу. Что касается всемогущего Бестужева – судьба его решена. Принцессе не приходится даже организовывать заговора для его свержения, так как он уже готов: перемена в судьбе Петра Ульриха привлекла в Россию партию Франции и партию Пруссии, поддерживаемую голштинцами. По-видимому, всеми ими управляет Лесток, выдвигая вперед, в виде оппозиции Бестужеву, графа Михаила Воронцова, принимавшего участие в восшествии на престол Елизаветы. Здесь не место для характеристики министра, одного из самых замечательных дипломатических кондотьеров той эпохи, служившего многим лицам, перед тем как предложить окончательно свои услуги России. Сознает ли мать Фигхен значение затеянной ею борьбы и могущество соперника? Вряд ли. Она твердо помнит, что Фридрих обещал дать ее младшей сестре Кведлинбургское аббатство в случае успеха затеи, и намерена получить свое аббатство. Падение Бестужева, согласно планам Фридриха, сигнал к перемещению фигур на политической шахматной доске; следствие его – сближение между Россией, Пруссией и Швецией. Как прославилась бы принцесса Цербстская, если бы ей удалось пристегнуть свое имя к подобному событию! Она чувствует, что это ей по плечу. Она – женщина и приехала из Цербста: в этом заключается ее оправдание. Ей все кажется, что она имеет дело с мелкими интригами и жалкими политическими комбинациями, с которыми была знакома в Цербсте; в этом и состояла ее великая ошибка вплоть до того дня, когда перед ее прозревшими глазами предстала необъятность бездны, на край которой она бессознательно ступила. О браке своей дочери она более и не заботится. «Это дело сделано, – пишет она своему мужу. – Фигхен всем понравилась.

Государыня ее ласкает, наследник любит ее». Что же между тем говорит сердце невесты? Воспоминание о первой встрече в Эйтине с щедушным «кильским ребенком» уступило ли теперь место более благоприятным впечатлениям? Мать Фигхен и не заботится об этом. Петр – великий князь, он будет когда-нибудь императором. Сердце ее дочери было бы сделано из другого теста, чем сердца всех немецких настоящих и прежних принцесс, если бы не удовлетворилось обещаниями счастья, данными в такой форме. Посмотрим, однако, что стало с хилым ребенком после неожиданной перемены, привнесенной в его судьбу!

IV

Петр родился в Киле 10 февраля 1728 года. В этот день голштинский министр Бассевиц писал в Петербург, что царевна Анна Петровна родила здорового и крепкого мальчика. Под его пером лишь придворная лесть. Ребенок не был крепким и никогда им не стал. Мать умерла от чахотки три месяца спустя. Слабое здоровье и стало причиной его неудовлетворительного воспитания. До семи лет он оставался на руках у нянек – как в Щецине, так и в Киле это француженки. У него и учитель французского языка – Милле. В семь лет его резко заставили подчиняться дисциплине офицеров голштинской гвардии. Не став еще мужчиной, он уже делается солдатом – казарменным, кордегардии и плац-парада. Вследствие этого приобретает пристрастие к военному ремеслу, но к низменной его стороне – грубости, мелочности и вульгарности. Участвует в учениях, несет караульную службу. В 1737 году, девяти лет, он уже сержант и по обязанностям службы стоит с обнаженным оружием у двери залы, где отец его роскошно пирует с офицерами. По мере того как перед его глазами проносятся вкусные блюда, слезы ручьями текут по щекам ребенка. Вступив на престол, Петр называл это воспоминание лучшим в своей жизни.

В 1739 году, после смерти отца, наступает другой режим: появляется главный воспитатель, руководящий несколькими другими, это знакомый уже нам голштинiec Брюммер. Рюльер восхваляет этого человека, «обладающего редкими достоинствами», и находит, что единственная его ошибка – «воспитал молодого принца по самым высоким образцам, соображаясь скорее с его судьбой, чем с его умом». Другие показания касательно этого лица не столь для него благоприятны. Француз Милле утверждал, что он «годен воспитывать лошадей, а не принцев». Грубо обращался со своим воспитанником, подвергая его неразумным наказаниям, не соответствовавшим хрупкому телосложению; например, оставлял без пищи или подвергал мукам долгого стояния на коленях на сухом горохе, рассыпанном по полу. Вследствие того что маленький принц, «чертушка», упорно продолжавший жить наперекор императрице Анне, был одновременно кандидатом и на шведский и на русский престолы, его попеременно обучали то русскому, то шведскому языку сообразно планам данного момента. В результате он не знал ни того, ни другого. Когда в 1742 году он приехал в Петербург, Елизавета удивилась его отсталости. Она поручила его Штелину. Это саксонец, переселившийся в Россию в 1735 году, профессор элоквенции, поэзии, философии Готтшедта, логики Вольфа и еще многих других предметов. Кроме своей профессорской учености, обладал еще и множеством талантов: писал стихи по поводу придворных торжеств, переводил итальянские оперы для театра ее величества, составлял рисунки для медалей в память побед, одержанных над татарами, управлял хорами императорской капеллы, сочинял эмблемы для фейерверков и т. п.

Легко себе представить, каково было воспитание Петра с учетом вышеупомянутых обстоятельств! Брюммер остался при нем в качестве гофмаршала и, по свидетельству Штелина, стал еще грубее. Однажды потребовалось его вмешательство, чтобы предотвратить насилие над великим князем, так как голштинiec бросился на него с поднятыми кулаками, а Петр, полумертвый от страха, стал звать на помощь гренадеров гвардии, стоявших на часах.

Под влиянием подобного режима характер будущего супруга Екатерины приобрел уродливые и порочные свойства: он стал одновременно несдержан и хитер, труслив и хвастлив. Он удивлял чистосердечную Фигхен своей ложью, как удивлял впоследствии весь мир трусостью. Однажды захотел повергнуть Фигхен в изумление рассказами о своих подвигах во время войны с датчанами. Она наивно спросила, когда это было. «За три или четыре года до смерти моего отца». – «Значит, вам не было еще и семи лет!» Он очень рассердился.

Вместе с тем он оставался тщедушным, непривлекательным как в физическом, так и в нравственном отношении и обладал странной, беспокойной душой, заключенной в узком, малокровном и преждевременно истощенном теле. Фигхен, несомненно, ошиблась бы, если бы рассчитывала на его привязанность для упрочения своего положения в России, как эта привязанность ни казалась искренней Иоанне Елизавете. Был ли вообще способен любить этот молодой человек столь печального образа?

К счастью для себя, Екатерина могла с самого начала полагаться помимо всякой дружой поддержки на свои собственные силы. Ее рассказы об этой эпохе своей жизни показались бы почти невероятными, если бы мы не имели возможности проверить искренность ее повествования. Ей едва исполнилось пятнадцать лет, но уже мы замечаем в ней верный и проницательный взгляд, меткость суждений, изумительную способность схватывать суть и необыкновенное здравомыслие, составлявшие впоследствии часть ее гения, а может быть, даже весь ее гений. Прежде всего она поняла: чтобы остаться в России, иметь в ней значение и – как знать? – играть важную роль, следует стать русской. Ее троюродный брат Петр, без сомнения, и не помышлял об этом. Но она быстро отдает себе отчет в неловкости и тайном недовольстве, возбуждаемом его голштинским жаргоном и немецкими манерами.

Она встает ночью, чтобы повторять уроки учителя русского языка Ададунова. Она не дает себе труда одеться и ходит босиком по комнате, чтобы не заснуть, и простужается. Вскоре жизнь ее оказывается в опасности.

«Молодая принцесса Цербстская, – пишет Шетарди 26 марта 1744 года, – заболела воспалением легких». Саксонская партия поднимает голову. Согласно свидетельству французского дипломата, вожди ее жестоко ошибаются, так как Елизавета не намерена, что бы ни случилось, дать им воспользоваться событиями. «Она говорила третьего дня Брюммеру и Лестоку, что они тем ничего не выиграют, а ежели б она такое дражайшее дитя потерять несчастье имела, то она дьяволом клялася, что саксонской принцессы, однако ж, никогда не возьмет». Впрочем, Шетарди пишет: «Брюммер мне в конфиденции открыл, что в случае бедственной крайности, которой опасаться и предусматривать надлежит, он пути приуготовил и что молодая принцесса д'Армштадтская (sic), прекрасная собою и которую король прусский представлял, в случае, когда б принцесса Цербстская успеха не получила, – всем другим принцессам предпочтена была б. Однако ж прибежище к такому способу не потеряли, в рассуждении того мнения и удостоверения, которые принцессы Цербстские, мать и дочь, обо мне имеют, что я в будущем их благополучию, которое им приуготовляется, вспомоществовал».

В то время как вокруг нее пробуждается честолубивое соперничество, принцесса София борется со смертью. Доктора предписывают кровопускание. Ее мать этому противится. Дело передается на обсуждение императрицы; но она находится в Троицкой лавре, погруженная в молитвы, которым предается страстно, хотя и порывами, влагая страсть во все свои поступки. Проходит пять дней; больная все ждет. Наконец Елизавета приезжает в сопровождении Лестока и приказывает пустить кровь. Бедная Фигхен теряет сознание. Придя в себя, она видит себя в объятиях императрицы. Чтобы вознаградить ее за то, что дала уколоть себя ланцетом, императрица дарит ей бриллиантовое ожерелье и серьги ценой двадцать тысяч рублей, по оценке принцессы Иоанны Елизаветы. Сам Петр обнаруживает щедрость и преподносит ей часы, осыпанные бриллиантами и рубинами. Однако ни брил-

лианты, ни рубины не властны над лихорадкой. В течение двадцати семи дней больной пускают кровь шестнадцать раз, иногда по четыре раза в сутки. Наконец молодость и крепкий организм Фигхен одерживают верх и над болезнью, и над лечением. Оказалось даже, что этот долгий и болезненный кризис имел на ее судьбу решительное и особенно счастливое влияние. Во-первых, насколько мать ее умудрилась опротиветь всем, вечно препираясь с докторами, ссорясь с окружающими и со своей дочерью, которую мучила, невзирая на ее страдания, настолько Екатерина сумела, несмотря на свое положение, завоевать все сердца и привлечь все симпатии. В это время разыгралась история с материей – знаменитой голубой тканью, подаренной ее дядей Людвигом. Иоанна Елизавета почему-то вздумала отнять ее у бедной Фигхен. Можно себе представить, какой шум поднялся вокруг больной по случаю этого пустого инцидента: хор упреков по адресу бесчувственной, жестокосердой матери – хор симпатий в пользу дочери, жертвы столь недостойного обращения. Фигхен уступила материю и ничего от этого не потеряла. Она торжествовала, впрочем, и другие победы. Ее болезнь сама по себе делала ее привлекательной в глазах русских. Все знали, каким образом она ее схватила. Образ молодой девушки, босиком изучающей по ночам созвучия славянского языка, невзирая на суровую зиму, пленял воображение и становился легендарным. Вскоре стало известно, что, когда она была очень плоха, мать ее хотела позвать протестантского пастора. «Это зачем? – сказала она. – Позовите лучше Симеона Тодорского». Симеон Тодорский – православный священник, которому поручили религиозное воспитание великого князя; и ему предстояло приняться и за религиозное воспитание великой княгини.

Каковы в данную минуту чувства принцессы Софии относительно этого щекотливого вопроса? Трудно высказать о них правильное суждение. Некоторые признаки указывают на то, что труд Гейнекия и советы, изложенные в «Pro memoria» Христиана Августа, произвели на нее довольно глубокое впечатление. «Я молю Бога, – писала она отцу еще из Кенигсберга, – чтобы он даровал моей душе силы, необходимые для того, чтобы выдержать искушения, которым я, по-видимому, буду подвергнута. Он дарует мне эту милость молитвами вашего высочества и дорогой мамы». Со своей стороны, Мардефельд озабочен. «Меня сильно смущает лишь одно обстоятельство, – пишет он, – а именно: мать думает или делает вид, что думает, что молодой красавице нельзя будет перейти в православную веру».

Он рассказывает еще, что как-то раз пришлось призвать протестантского пастора, с тем чтобы он успокоил ее сердце, встревоженное уроками православного священника. Вот, однако, какое мнение составила себе впоследствии Екатерина, опираясь на личный опыт, о трудностях, с которыми сопряжен переход в лоно православной церкви немецкой принцессы, воспитанной в лютеранстве, о количестве времени, требуемом для одоления их, и о ходе разрешенной подобным образом нравственной задачи. В письме к Гримму от 18 августа 1776 года она выражается следующим образом о принцессе Вюртембергской, выбранной ею для своего сына Павла: «Как только мы ее получим, мы приступим к ее обращению. На это потребуются, пожалуй, дней пятнадцать... Чтобы ускорить дело, Пастухов отправился в Мемель, где выучит ее азбуке и исповеданию веры по-русски: убеждение придет после».

...Как бы то ни было, но отказ от лютеранского пастора – отречение от верований детства, исходящее из уст умирающей будущей великой княгини и призыв Тодорского, то есть исповедание православной веры, – нашли сочувственный отклик в России. С этого времени положение Фигхен обеспечено. Что бы ни случилось, она отныне уверена, что найдет приют в сердце наивного и глубоко религиозного народа, желающего доказать ей свою благосклонность. Узы, связавшие маленькую немецкую принцессу с великим славянским народом, на языке которого она только начинала лепетать, договор, в продолжение почти полувека соединявший их в одной славной судьбе и расторгнутый лишь смертью, – эти узы, этот договор образовались с той минуты.

20 апреля 1744 года принцесса София впервые после болезни появляется на публике. Она еще так бледна, что императрица посылает ей банку румян, но она все-таки привлекает все взоры и чувствует, что взоры эти большею частью благожелательны. Она уже нравится и привлекает к себе. Она сияет и согревает ледяную атмосферу двора, которому впоследствии сумеет придать столько блеска. Даже Петр становится любезнее и доверчивее. Увы, его любезность и доверчивость совершенно особого свойства: он рассказывает будущей супруге историю своей любви к одной из фрейлин императрицы, Лопухиной, мать которой недавно сослана в Сибирь. Фрейлине пришлось одновременно покинуть двор. Петр хотел на ней жениться, но подчинился воле императрицы. Фигхен краснеет и, не теряя самообладания, благодарит великого князя за честь, оказываемую ей тем, что делает ее поверенной своих тайн. Таким образом, выясняется, какая будущность ожидает эти два столь различных существа.

V

Тем временем принцесса Иоанна Елизавета полностью погрузилась в свои политические предприятия. Она сошлась с семьей Трубецких и даже с Бецким, проявлявшим уже свой беспокойный нрав. В ее салоне собираются все противники настоящей политической «системы», все враги Бестужева: Лесток, Шетарди, Мардефельд, Брюммер. Она интригует, замышляет, шепчется. Она смело идет вперед со свойственной нервным женщинам страстностью и присущим ей легкомыслием; ей кажется, что в ее руках успех и Кведлинбургское аббатство. В воображении она уже принимает поздравления Фридриха и входит в роль посланника при великом северном дворе, ставшем его лучшим и ценнейшим союзником. Она не видит разверзающейся у ее ног пропасти.

1 июня 1744 года Елизавета снова отправляется в Троицкую лавру. Путешествие совершается со всей пышностью торжественного богомолья; императрицу сопровождает половина двора, а сама она идет пешком. Вступая на престол, она дала обет совершать это богомолье каждый раз, как будет приезжать в Москву, в память того, что Петр I нашел в древней обители убежище во время стрелецкого бунта. Принцесса София, будучи еще слишком слабой, не могла сопровождать императрицу, и мать осталась с ней. Однако через три дня является курьер с письмами от Елизаветы, повелевающей обоим принцессам присоединиться к императорскому шествию, дабы присутствовать при торжественном въезде императрицы в Троицкую лавру. Не успели они расположиться в келье, куда пришел и великий князь, как является императрица в сопровождении Лестока. Она, в большом волнении, приказывает принцессе Иоанне Елизавете следовать за ней в соседнюю комнату. За ними идет и Лесток. Свидание длится долго, но Фигхен не тревожится этим, так как поглощена вздорной, по обыкновению, болтовней Петра. Мало-помалу молодость и живость ее ума одерживают верх над чувством неловкости, внушаемым ей обыкновенно присутствием великого князя, и они весело разговаривают и смеются. Вдруг возвращается Лесток. «Ваша радость скоро кончится!» – сказал он резко; затем, обращаясь к принцессе Софии, он прибавил: «Вам остается только укладываться». Фигхен немеет от изумления, а великий князь спрашивает, что это значит. «Сами скоро увидите», – отвечает Лесток.

«Я ясно видела, – пишет Екатерина в своих „Записках...“, – что он (великий князь) расстался бы со мной без сожаления. Ввиду его отношения ко мне я была к нему почти совсем равнодушна, но я не была равнодушна к российской короне». Могла ли действительно эта пятнадцатилетняя девочка думать уже о короне? Почему же нет? Она писала свои «Записки...» через сорок лет, если предположить, что она их писала в том виде, в каком они до нас дошли, – и неизбежно преувеличивала свои детские впечатления. «Сердце мое, – говорит она дальше, вспоминая ту же пору своей жизни, – не предвещало мне ничего доброго;

меня поддерживало лишь честолюбие. В глубине моего сердца всегда таилось нечто, что не позволяло мне сомневаться в том, что мне удастся сделаться императрицей всероссийской по собственному своему почину». Здесь преувеличение очевидно, и добавление *a posteriori* бросается в глаза. Но престол, разделенный с Петром, мог, пожалуй, казаться заманчивым ее детскому воображению; случалось ведь, что и более отдаленные «надежды» фигурировали в брачном приданом, и даже в настоящее время пятнадцатилетние невесты прекрасно умеют их учитывать.

Вслед за Лестоком появляется императрица, очень красная, а за нею – принцесса Иоанна Елизавета, очень взволнованная и с заплаканными глазами. При виде государыни молодые люди, сидевшие на подоконнике и болтающие ногами, поспешно соскакивают на пол. Эта картина как будто обезоруживает императрицу. Она улыбается, подходит к ним, целует их и выходит, не вымолвив ни слова. Тут тайна раскрывается. Уже больше месяца принцесса Цербстская, не подозревая того, ходила по mine, вырытой под ее ногами врагом, которого она думала одолеть без труда. И вот мина взорвалась.

Маркиз де ла Шетарди вернулся в Россию с репутацией самого блестящего дипломата того времени, опиравшейся на роль, сыгранную им в России. Ему было двадцать шесть лет. Он был высок, строен, красивой, аристократической наружности и, казалось, предназначен занять высокое положение при дворе, где все решения зависели от фавора, где прежде всего и главным образом надо нравиться и где, как говорят, он раньше уже успел понравиться. Он составил себе очень ловкий план, пожалуй, даже слишком ловкий; ему не без труда удалось заставить версальский двор принять его. План заключался в том, чтобы поставить падение Бестужева, то есть отречение от австрийской политики, защищаемой им, условием уступки, давно уже обсуждаемой обоими дворами, чрезвычайно желаемой Елизаветой и упорно отвергаемой Францией. Дело шло о титуле императорского величества, молчаливо признаваемом за преемниками Петра Великого, но еще не зарегистрированном и потому отсутствовавшем в официальных бумагах, исходивших из канцелярии наихристианнейшего короля.

Шетарди добился того, что в его верительные грамоты был внесен желанный титул. Он оставил их у себя, с тем чтобы отдать преемнику Бестужева – после падения последнего. Это стало известно Елизавете, а вскоре и всему двору. До тех пор французский дипломат, опираясь на личное влияние, имел дело непосредственно с императрицей помимо ее канцлера. Однако он слишком понадеялся на свои силы и обманывался насчет характера Елизаветы. Портрет дочери Петра I был не раз обрисован, и мы имеем, по всей вероятности, верное понятие о характере этой странной государыни, одновременно беспокойной и ленивой, любящей веселиться и интересующейся делами; проводящей целые часы за своим туалетом, но заставляющей ожидать неделями и даже месяцами подписи или приказа. В ней уживались самые противоречивые свойства. Это была женщина властная, чувственная, набожная, неверующая и суеверная, поминутно переходившая от излишеств, разрушавших ее здоровье, к религиозной экзальтации, поражавшей ее разум: в наше время мы бы назвали ее истеричной. Барон де Брейтель рассказывает в одной из своих депеш, что в 1760 году ей следовало подписать возобновленный договор, заключенный в 1746 году с венским кабинетом; она уже написала «Ели...», когда на ее перо села оса. Она остановилась и лишь через шесть месяцев dokonчила свою подпись!

Принцесса Цербстская оставила недурное описание ее внешности: «Императрица Елизавета очень высокого роста; отлично сложена. В мое время она уже стала полнеть, и мне всегда казалось, что ее касались слова Сент-Эвремона в описании знаменитой герцогини Мазарини, Гортензии Манчини: „Талия ее тонка в той мере, в какой у другой она была бы красивой“. В то время это к ней относилось в буквальном смысле. Голова безукоризненна; правда, нос менее безупречен, но он на месте. Рот бесподобен; другого такого не сыскать:

он полон грации, улыбки и кокетства. Он не умеет гримасничать и слагается только в грациозные складки; и брань из этих уст казалась бы прелестной, если бы они умели ее выговорить. Два ряда жемчужин виднеются меж красных губ, совершенство которых нельзя себе представить, не видев их. Глаза трогательны; да, они на меня производят именно это впечатление! Они кажутся черными, в действительности они голубые. Они внушают кротость, которою проникнуты... Лоб чрезвычайно приятен. Волосы ее растут так правильно, что от одного взмаха гребня искусно и красиво ложатся. У императрицы черные брови и волосы естественного пепельного оттенка. Все ее лицо благородно, походка красива; она грациозна, говорит хорошо, приятным голосом, движения ее решительны. Словом, нет лица, подобного ей! Цвет лица, грудь и руки – невиданные по красоте. Поверьте мне, я знаток и говорю без предубеждения»!

В отношении нравственном желчное перо маркиза Шетарди в то же время противопоставляло этому грациозному видению совершенно иную характеристику. Всем известна история перехваченной переписки неосторожного дипломата, в которой негодующая государыня прочла самые возмутительные обвинения. В своих мемуарах, являющихся, по всей вероятности, апокрифическими, д'Эон (I, 121–128) приписывает, кроме того, графу Воронцову следующие суждения: «Под личиной добродушия она (Елизавета) обладает тонким, острым умом. Если заранее не застегнуться и не надеть панциря, защищающего от ее взгляда, он проникает под ваше одеяние, раскрывает его, раздевает вас, открывает вашу грудь, и когда вы это заметите, то уже слишком поздно: вы обнажены, эта женщина все прочла внутри вас и обыскала вашу душу... ее чистосердечие и доброта не что иное, как маска! Во Франции, например, и во всей Европе она пользуется репутацией милостивой. Действительно, при восшествии на престол она поклялась святому Николаю Чудотворцу, что в ее царствование никто не будет казнен. Она сдержала свое слово в буквальном его смысле: ни одна голова не была еще отрублена; но зато отрублены две тысячи языков и две тысячи пар ушей... вы, вероятно, знаете историю бедной и интересной Евдокии Лопухиной? Она, может быть, и была виновата перед ее величеством, но главная ее вина заключалась в том, что она была ее соперница и красивее ее. Елизавета велела проколоть ей язык раскаленным железом и дать ей двадцать ударов кнута рукой палача; несчастная была беременна и должна была родить... Вся ее частная жизнь полна таких же противоречий. То безбожная, то набожная, неверующая до атеизма, ханжа и суеверная, она проводит целые часы на коленях перед иконой Богоматери, разговаривая с ней и страстно вопрошая ее, в какой гвардейской роте ей надлежит взять любовника... Я забыл еще одно обстоятельство... Ее величество питает сильное пристрастие к спиртным напиткам. Случается, что под их влиянием она теряет сознание. Тогда приходится разрезать ее платья и корсет. Она бьет слуг и служанок...»

Можно себе представить, с какими трудностями приходилось сталкиваться Шетарди, имея дело с государыней подобного странного характера, и на какой скользкий путь встала принцесса Цербстская. Она сделалась его сообщницей и в конце концов возложила на него все свои надежды. Мардефельд от нее отошел, Брюммер мало-помалу уклонился, а Лесток лавировал, повинаясь своему верному инстинкту. Из Версаля маркизу советовали быть осторожнее. Наконец ему властно приказано не делать признание императорского титула предметом столь сомнительного торга, так как само по себе это обстоятельство неважно. «Король – император Франции», – писали ему. Благоразумнее «оказать любезность» царице, показав ей письмо короля. Может быть, она вследствие этого и заставит своего министра заключить столь желанный союз. Шетарди готов повиноваться, но ему предстояло одолеть еще одно препятствие: надо по крайней мере на четверть часа «удержать внимание» государыни, и это ему не удавалось.

Между тем Бестужев готовил свой удар. С помощью чиновника Иностранной коллегии Гольдбаха, опять-таки немца, а может быть, и еврея, специалиста по чтению шифров, он

перехватывал и перлюстрировал всю переписку французского посланника и наконец представил ее императрице, отметив места, относившиеся до нее лично. Де ла Шетарди жаловался на лень, легкомыслие государыни, на ее ужасную жажду удовольствий и кокетство, заставляющее ее менять туалеты четыре-пять раз в день. Можно себе представить гнев Елизаветы! Последствия его известны. Шетарди упорно не представлял своих верительных грамот, и потому его пребывание в Петербурге не носило официального характера, он находился в нем как частное лицо. Посредством простой записки из коллегии ему сообщено приказание в двадцать четыре часа покинуть Петербург и Россию. Императрица повелела даже отобрать у него портрет на крышке осыпанной бриллиантами табакерки, пожалованной ему государыней! Табакерку ему оставили.

Не он один оказался замешанным в этом деле. Его депеши открыли императрице глаза на участие принцессы Цербстской в неудавшейся интриге. Она оказалась в роли шпиона Пруссии и Франции при русском дворе, давала советы Шетарди и Мардефельду, тайно переписывалась с Фридрихом. Вот что означала загадочная сцена в Троицкой лавре!

Принцесса Цербстская отделалась испугом, горькими истинами, которые ей пришлось выслушать от Елизаветы, и безвозвратной потерей не только того влияния, которое она мечтала приобрести при дворе, – тайные пружины его она только начинала постигать, – но и того, на которое имела право рассчитывать. «Имя принцессы Цербстской, – пишет год спустя преемник Шетарди д'Альон, – часто встречалось в перехваченных письмах маркиза де ла Шетарди. С тех пор императрица чувствует к ней сильную неприязнь... Для нее лучше всего было бы вернуться в Германию». Та так и сделала, но прежде ей удалось присутствовать при единственной победе, на которую она могла рассчитывать под этим небом, ставшим для нее столь немилостивым, – и той именно, которую она упустила из виду и чуть не погубила.

VI

Репутация Фигхен вышла незапятнанной из этого кризиса. Наоборот, с этой минуты победа ее не подлежит сомнению и брак с великим князем становится делом окончательно решенным, как будто ее невинность заставила ее противников и политических врагов сложить оружие. Оставалось решить еще один щекотливый вопрос – о торжественном принятии принцессы Софии в лоно православной церкви. Принцесса Цербстская последовала по мере возможности советам мужа. Она употребила все усилия, чтобы отстоять свою веру и веру дочери. Она даже осведомилась, не может ли прецедент супруги царевича Алексея, оставшейся лютеранкой, послужить в пользу Фигхен. Но все ее попытки в этом направлении остались бесплодными. Она, однако, скрасила свое сообщение об этом набожном Христиану Августу некоторыми утешительными рассуждениями. Она просмотрела с Симеоном Тодорским весь православный обряд веры, тщательно сравнила его с лютеранским вероисповеданием и пришла к убеждению, что между обеими религиями нет коренного различия. Фигхен же еще скорее поняла, что она может спастись и в православной вере. Гейнекций, очевидно, ошибался, а Мефодий во всем сходился с Лютером. Аргументы Симеона Тодорского оказались неопровержимыми. Этот архимандрит был очень ловок. Он много путешествовал и учился в университете в Галле. Христиан Август, однако, поддался не сразу. «Добрый принц Цербстский, – писал впоследствии Фридрих, – упорствовал... На все мои убеждения он отвечал только: „Моя дочь не будет православной“. К счастью, в Берлине нашелся другой Симеон Тодорский. «Один пастор, – пишет Фридрих, – которого мне удалось привлечь на свою сторону... согласился убедить его, что православная вера похожа на лютеранскую. С тех пор он все повторял: „Лютеранско-греческая, греко-лютеранская – это одно и то же“». В июне курьер, отправленный Елизаветой, привез официальное разрешение принца на брак принцессы Софии и на ее обращение в православную веру. Добрый принц Христиан Август

писал, что видит перст Божий (eine Fuhung Gottes) в обстоятельствах, продиктовавших ему его решение.

Публичное принятие назначено на 28 июня, а обручение – на 29 июня, день святых апостолов Петра и Павла. Близость этого обряда волновала Фигхен. Письма, в большом количестве получаемые от родных из Германии, не способствовали ее успокоению. Можно себе представить, какие обильные и разнородные комментарии вызвала столь неожиданная судьба маленькой принцессы в среде, в которой она жила до тех пор! Общий характер их не был благожелательным. Может быть, к опасениям, внушаемым, по-видимому, лишь нежной заботливостью, примешивалась и некоторая доля зависти. Припоминалась печальная судьба несчастной Шарлотты Брауншвейгской, супруги Алексея, покинутой мужем, забытой царем. Вообще, далекая Россия не сыграла ли роковой роли в истории всей этой немецкой семьи, также думавшей найти в ней прекрасную и великую будущность? Все это изложено в длинных, путаных фразах немецким жаргоном, пестревшим французскими словами, в которых Фигхен подмечала гораздо больше досады, чем искренней тревоги. Но они, однако же, заставляли ее дрожать всякий раз, как она устремляла тревожный взор в загадочное будущее.

Однако никто из придворных, толпившихся 28 июня 1744 года, в девять часов утра, в церкви Головинского дворца, не подозревал состояние ее души. Одета в платье «adrienne» из алого «gros de Tours», выложенного серебряным галуном, с простой белой лентой в ненапудренных волосах, Фигхен дышала молодостью, красотой и скромностью. Ее голос не дрогнул, память не изменила ей ни на секунду, когда она в присутствии умиленных слушателей произносила по-русски символ своей новой веры. Новгородский архиепископ, тот самый, что был против ее брака, пролил слезы, и все присутствующие сочли своим долгом последовать его примеру. Правда, они плакали и при обращении Петра Ульриха, несмотря на то, что тот гримасничал во время богослужения и глумился над священнослужителями. Умиление, однако, входило в расписание подобных дней. Императрица выразила свое удовольствие тем, что подарила новообращенной аграф и бриллиантовое ожерелье стоимостью 100 тысяч рублей, согласно оценке принцессы Цербстской.

Что бы сказал добрый Христиан Август, если бы он слышал, как дочь его объявила перед лицом Бога и людей: «Верую и исповедую, что одна вера недостаточна для моего спасения»?.. Не потребовалось ли со стороны самой Фигхен некоторого усилия, чтобы произнести эти слова, окончательно отделявшие ее от прошлого? Лица, усмотревшие в данном случае влияние парижских философов на ее юный ум, ошиблись числами. По всей вероятности, будущий друг Вольтера в то время еще и не подозревала о существовании этого писателя. По выходе из церкви силы ей изменили, и она не могла присутствовать при обеде. Однако то была уже не Фигхен, не принцесса София Фредерика, что нетвердыми ногами переступила порог церкви, увешанной золотыми иконами. В тот же день на литургии впервые провозглашено на ектении прошение о «благоверной Екатерине Алексеевне». Принцесса Цербстская объяснила мужу, что к имени София лишь присоединили имя Екатерина, «как то бывает при конфирмации». Слово «Алексеевна» обозначало, разумеется, «дочь Августа», что нельзя перевести по-русски иначе чем Алексеевна. Добрый Христиан удовлетворялся этим объяснением: ему за последнее время вообще пришлось запастись большим доверием.

Обручение совершено на следующий день в Успенском соборе. Принцесса Цербстская сама надела на пальцы Екатерины Алексеевны и ее будущего супруга два кольца – «ценою пятьдесят тысяч экю», писала она. Некоторые писатели, в том числе и Рюльер, утверждают, что Екатерина тут же получила и титул «наследницы престола» с правом наследования в случае смерти великого князя. Современные писатели оспаривают этот факт. Для такого постановления надо издать манифест; его, однако ж, не существует. Будущая великая княгиня продолжала приводить всех в восторг совершенной грацией и тактичностью своего поведения.

Даже мать заметила, что она краснела каждый раз, как, согласно требованиям своего нового положения, принуждена была идти впереди матери. Однако принцесса не могла не заметить также, что дочь намерена воспользоваться своим новым положением, чтобы избавиться от давно угнетавшей ее опеки. К тому же не одна Екатерина видела, что присутствие матери становилось тягостным и что в среде, где ей приходилось вращаться, принцессу Цербстскую не любили и смотрели на нее как на «чужую». Екатерина первый раз в жизни имела карманные деньги: Елизавета прислала ей 30 тысяч рублей «на карточную игру», как тогда выражались. Эти деньги показались ей неистощимым богатством. С первых же дней она почерпнула из них широко и с благородной целью. Ее брата только что послали в Гамбург, чтобы закончить образование. Она объявила, что принимает на себя расходы по его содержанию. У нее был свой двор, камергеры, камер-юнкеры; причем вообще весь штат тщательно подобран вне того кружка, который принцесса Цербстская вздумала заставить служить интересам своим и Фридриха. Таким образом, матери пришлось испытать новое разочарование, и она не преминула лишний раз обнаружить свою бестактность тем, что открыто выражала неудовольствие. Своим несносным, придиричьим характером она окончательно оттолкнула всех от себя. Ссорилась и с великим князем, который в размолвках с ней не стеснялся пускать в ход запас слов, набранных им в кордегардии.

Между тем Екатерина быстро освоилась со своим новым положением. Ей даже представился случай ближе познакомиться с обширными владениями, которыми суждено впоследствии управлять. В сопровождении матери и великого князя она совершила то самое путешествие в Киев, которое возобновила через сорок лет с необычайной пышностью. Она сохранила об этой поездке неизгладимое впечатление, несомненно повлиявшее на склад ее ума и характер управления. Проехав около восьмисот верст и при этом не покидая владений Елизаветы; видя на своем пути толпы народа, падавшие ниц перед всемогуществом императрицы, маленькая немецкая принцесса, привыкшая к ограниченному горизонту бедных немецких княжеств, чувствовала, как в душе ее зарождается и крепнет сознание беспредельного величия и могущества. Когда она стала императрицей, ей казалось, что она – воплощение этого величия и предназначена в силу его вознестись над всем миром. Вместе с тем благодаря своей юной проницательности и верному взгляду подмечает и обратную, печальную и мрачную сторону этого ослепительного великолепия. В Петербурге и Москве видела своими очарованными глазами лишь блещущий золотом трон, осыпанный бриллиантами двор, внешние декорации императорского величия, заключавшегося в несколько варварской пышности и почти азиатской роскоши, – теперь оказалась лицом к лицу с основой и источниками, питавшими это беспримерное великолепие: перед ее изумленными, а затем и испуганными глазами предстал русский народ – дикий, грязный, дрожащий от холода и голода в закопченных избах и несущий как крест двойное ярмо нищеты и рабства. Она угадывала, предчувствовала в этой ужасающей антитезе нужды и роскоши печальные недостатки в экономическом и социальном строе и невероятный произвол власти. В этом поверхностном обозрении коренятся все начатки преобразований, все благородные инстинкты и либеральные порывы, характеризующие первую половину ее царствования.

По возвращении в Москву ей пришлось познакомиться и с другой стороной медали: мелкими неприятностями, неразлучными с ее высоким положением. Однажды вечером в комедии, сидя в ложе великого князя, напротив императрицы, она уловила гневный взгляд Елизаветы, направленный на нее. Вскоре услужливый Лесток, с которым государыня разговаривала, явился в ее ложу и сухо, резко, умышленно подчеркивая свою холодность, передал ей, что императрица на нее гневается, и объяснил почему. Екатерина в один месяц наделала долгов на семнадцать тысяч рублей; все сокровище растаяло в руках, из которых впоследствии золотая река лилась на империю и на всю Европу. Но разве ей возможно удовольствоваться тремя платьями, привезенными ею из Цербста? Ей приходилось даже заимствовать

у своей матери. Затем она заметила, что при русском, как и при цербстском, дворе дружба подогревалась маленькими подарками и в ее положении ей не оставалось другого средства для поддержания хороших отношений с окружающими. Даже великий князь питал особое пристрастие к этому способу сохранения добрых отношений с невестой. Наконец, графиня Румянцева очень своеобразно понимала свои обязанности гофмейстерины: сама очень расточительная, вовлекала в расточительность и Екатерину.

В своих «Записках...», откуда мы заимствуем эти подробности, Екатерина строго осуждает окружавших ее в то время лиц, не исключая и великого князя; несмотря на ее щедрость, их взаимные отношения уже тогда не отличались сердечностью. Может быть, она поддалась искушению и сгустила краски в этом уголке картины. Следующая записка как будто подтверждает наше предположение. Великий князь, заболевший в октябре плевритом, не покидал своих апартаментов и тяготился вынужденным затворничеством.

Екатерина писала ему (мы сохраняем слог и орфографию подлинника): «Monsieur, ayant consulté ma Mère, sachant qu'elle peut beaucoup sur le grand-maréchal (Брюммер), elle m'a permis de lui en parler et de faire qu'on vous permettent de jouer sur les instrumens. Elle m'a aussy char-gée de vous demander, Monseigneur, sy vous voulez quelques Italiens aujourd'hui après Midy. Je vous assure que je deviendray folle en Votre place s'y on m'otois tous; je vous prie au Nom De Dieu, ne lui montrez pas ces billets. Catherine»⁵.

Эта записка как будто избавляет принцессу Цербстскую от обвинений в дурном и вздорном характере, предъявляемых ей даже дочерью. Два месяца спустя, в декабре, мы видим Екатерину в слезах, умоляющей пустить ее к жениху, заболевшему новой и ужасной болезнью. По дороге из Москвы в Петербург Петр принужден был остановиться в Хотилове, так как схватил оспу. Жених Елизаветы умер от оспы. Императрица отстранила Екатерину и ее мать, отослав их в Петербург, и сама принялась ухаживать за великим князем. Екатерине оставалось лишь писать ему очень нежные письма, в которых она впервые употребляет русский язык. Но это лишь уловка, так как сочинял их Ададуров, а она только списывала.

Вторичное пребывание Екатерины в Петербурге отмечено приездом графа Гюлленборга, посланного шведским двором с известием о совершившемся браке наследника престола Адольфа Фридриха, дяди Екатерины, с принцессой Ульрикой Прусской. Екатерина видела Гюлленборга еще в 1740 году в Гамбурге. Он тогда уже заметил в ней философский склад ума. Расспросил, как идут занятия, и посоветовал почитать Плутарха, жизнь Цицерона и «Причины величия и падения Римской империи» Монтескьё. В свою очередь Екатерина преподнесла ему свой портрет, «портрет философа в 15 лет», составленный ею самой. Она впоследствии отобрала у Гюлленборга подлинник и, к сожалению, сожгла его, а в бумагах графа Гюлленборга, сохранившихся в университете в Упсале, не осталось копии. В своих «Записках...» Екатерина уверяет, что сама изумилась, как глубоко и верно себя понимала. Мы сожалеем, что не имеем возможности проверить ее суждение.

Петр вернулся в Петербург лишь в конце января. Кастера рассказывает, что, обняв великого князя и выказав живейшую радость при свидании, Екатерина вернулась к себе, лишилась чувств и ее три часа не могли привести в сознание. Оспа действительно не послужила к украшению великого князя. Рябинки на лице и огромный парик на голове делали его почти неузнаваемым. Одна только принцесса Цербстская нашла, что он прекрасно выглядит, и тотчас же сообщила об этом мужу. Кастера, по всей вероятности, впал, по обыкновению, в преувеличение, а принцесса Цербстская, должно быть, вспомнила, что петербургская почта

⁵ «Месье, моя мать полагает, что имеет большое влияние на фельдмаршала (Брюммера), и разрешила мне поговорить с ним, но просила спросить на это Вашего разрешения. Она также просила меня спросить Вас, не желаете ли Вы увидеть нескольких итальянских (артистов) сегодня после обеда. Уверяю Вас, что сойду с ума, если окажусь на Вашем месте одна без Вас. Заклинаю Богом не показывать никому эту записку» (фр.). (Санкт-Петербург. 15(26) февраля 1745 г. Архив МИДа Франции.)

охотно знакомилась с содержанием доверяемых ей писем. Как бы то ни было, вскоре после возвращения великого князя начались приготовления к свадьбе.

VII

В России не бывало еще церемонии подобного рода. Брак царевича Алексея, сына Петра I, совершился в Торгау, в Саксонии, а до него наследники московского престола не были будущими императорами. Написали во Францию, где только что отпраздновали свадьбу дофина; справились и в Саксонии. Как из Версаля, так и из Дрездена пришли самые точные описания, даже рисунки, изображающие малейшие подробности торжества; их надлежало не только повторить, но и превзойти. Как только вскрылась Нева, стали приходить немецкие и английские корабли, привозя экипажи, мебель, материи, ливреи, заказанные по всей Европе. Христиан Август прислал несколько цербстских материй, тканых золотом и серебром. Тогда носили узорчатые шелка с золотыми и серебряными цветами на светлом фоне. Они вырабатывались в Англии и Цербсте, занимавшем, по отзыву знатоков, второе место в этом производстве.

День свадьбы, несколько раз отложенный, был окончательно назначен на 21 августа. Празднества должны были продолжаться до 30-го. Доктора великого князя требовали новой отсрочки, так как в марте Петр опять заболел. Казалось, что и целого года мало для окончательного его выздоровления. Но Елизавета не желала больше ждать, ей, между прочим, хотелось скорее избавиться от матери Екатерины. Вероятно, были и другие, более веские причины, заставлявшие ее торопиться. Ввиду слабого здоровья Петра престолонаследие весьма слабо обеспечено, а память о маленьком Иоанне, заключенном в крепости, все еще тревожит умы. В июне 1745 года в уборной Елизаветы найден неизвестный человек с кинжалом в руке. Никакие пытки не могли вырвать из него ни слова.

Согласно довольно авторитетным источникам, принцесса Иоанна Елизавета продолжала проявлять свой несносный характер. Нет некрасивой истории, в которой она так или иначе не замешана в последние недели пребывания в России. Беспрестанно интригует и сплетничает; даже обвиняет дочь в том, что та имеет ночные свидания с великим князем. Императрица приказывает перехватывать и внимательно читать ее письма. Вместе с тем ей и в голову не приходит пригласить своего мужа на предстоящее торжество. Долгое время принцесса Цербстская обещала Христиану Августу это приглашение, советуя ему быть к нему всегда готовым и откладывая его со дня на день, с месяца на месяц. Сам Фридрих, введенный в заблуждение Мардефельдом, поддерживал эту надежду в своем фельдмаршале. Наконец Иоанна Елизавета принуждена сознаться, что, скорее, подумывали о том, как бы ее саму отправить домой до торжества.

Из всей семьи на бракосочетании присутствовал лишь брат принцессы. Тут сказалось лукавство Бестужева. Август Голштинский неуклюж, груб и убог умом – не представительный родственник. Английский посланник Гиндфорд пишет в своих депешах, что никогда не видывал кортежа более великолепного, чем тот, что сопровождал Екатерину в Казанский собор. Церковный обряд начался в десять утра и кончился лишь в четыре пополудни. Православная церковь, по-видимому, добросовестно отправила свои обязанности. В продолжение последующих десяти дней празднества шли непрерывной чередой. Балы, маскарады, обеды, ужины, итальянская опера, французская комедия, иллюминации, фейерверки – программа полная. Принцесса Цербстская оставила нам любопытное описание самого интересного дня – дня бракосочетания:

«Бал продолжался всего полтора часа. Затем ее императорское величество направилась в брачные покои, предшествуемая церемониймейстерами, обер-гофмейстером ее двора, обер-гофмаршалом и обер-камергером двора великого князя; за ней шли новобрачные,

держась за руки, я, мой брат, принцесса Гессенская, гофмейстерина, статс-дамы, камер-фрейлины, фрейлины. По прибытии в апартаменты мужчины удалились тотчас же, как вошли все дамы, и двери закрылись. Молодой супруг прошел в комнату, где ему надлежало переодеться. Принялись раздевать новобрачную. Ее императорское величество сняла с нее корону; я уступила принцессе Гессенской честь надеть на нее сорочку, гофмейстерина надела на нее халат, а остальные дополнили ее великолепный домашний туалет.

За исключением этой церемонии, — замечает принцесса Цербстская, — раздевание невесты занимает здесь гораздо менее времени, чем у нас. Ни один мужчина не смеет войти с той минуты, как супруг вошел к себе, чтобы переодеться на ночь. Здесь не танцуют танца с гирляндой и не раздают подвязок. Когда великая княгиня была готова, ее императорское величество прошла к великому князю, которого одевали обер-егермейстер граф Разумовский и мой брат. Императрица привела его к нам. Его одевание было схоже с одеванием его супруги, но менее красиво. Ее императорское величество преподала им свое благословение; они приняли его, стоя на коленях. Она их нежно поцеловала и оставила принцессу Гессенскую, графиню Румянцеву и меня, чтобы мы уложили их в кровать. Я попыталась выразить ей свою благодарность, но она меня осмеяла».

Мы обязаны также перу Иоанны Елизаветы описанием апартаментов, отведенных молодым супругам:

«Эти апартаменты состоят из четырех комнат, одна прекраснее другой. Богаче всех кабинет: он обтянут затканной серебром материей с великолепной шелковой вышивкой разных цветов; вся меблировка в тон: стулья, шторы, занавеси. Спальня обтянута пунцовым, отливающим алым бархатом, вышитым серебряными выпуклыми столбиками и гирляндами; кровать вся покрыта им; вся меблировка в тон. Она так красива, величественна, что нельзя смотреть на нее без восторга».

Торжества закончились особой церемонией, никогда уже более не повторявшейся. В последний раз был спуск на воду «дедушки русского флота» — ботика, построенного, согласно преданию, самим Петром Великим. Указом от 2 сентября 1724 года Петр повелел спускать его каждый год 30 августа, а остальное время сохранять в Александро-Невской лавре. После его смерти и ботик и указ забыты. Елизавета вспомнила про них лишь в 1744 году и повторила эту церемонию на следующий год, по случаю бракосочетания своего племянника. Пришлось построить плот, чтобы поддерживать ботик, так как он уже не держался на воде. Елизавета торжественно взойшла на него и поцеловала прикрепленный к мачте портрет отца.

Через месяц принцесса Цербстская рассталась навсегда с дочерью и с русским двором. Прощаясь с императрицей, она бросилась к ее ногам, умоляя простить причиненные неприятности. Елизавета отвечала, что «говорить об этом слишком поздно и, если бы принцесса была всегда так скромна, это было бы гораздо лучше для всех». Описывая сцену прощания, сама Иоанна Елизавета упоминает лишь о любезности императрицы, взаимных ласках и слезах, пролитых обеими сторонами. Как мы уже видели, придворные слезы недорого стоили, и Иоанна Елизавета, несмотря на неудачные политические интриги, все же довольно дипломатична в своих писаниях.

В Риге ее ожидал страшный удар. Здесь ее настигло письмо Елизаветы, поручавшее ей просить берлинский двор о немедленном отзывании Мардефельда. Это стало окончательным разрушением надежд, возложенных Фридрихом на посредничество принцессы и постоянно поддерживаемых ею. В день отъезда Иоанны Елизаветы из Петербурга, 10 октября 1745 года, обнаружилось, что Фридрих подговаривал супруга принцессы Луизы Ульрики и брата принцессы Цербстской, Адольфа Фридриха Шведского, предъявить свои права на Голштинское герцогство. Фридрих находил, что владение этим герцогством несовместимо с владением российским престолом. Одновременно пришли вести об удаче прусского оружия на саксон-

ской границе (при Соре, 30 сентября), и Государственный совет, немедленно собравшийся, решил послать корпус на подмогу польскому королю, которому угрожало вторжение в его наследственные владения. С этой минуты присутствие в Петербурге Мардефельда, друга и политического союзника принцессы Цербстской и, следовательно, ее брата, становилось невозможным.

Итак, Иоанне Елизавете удалось без особого труда сделать свою дочь русской великой княгиней. Во всех других пунктах, где она развернула свою неустанную деятельность, поражение ее было полным. Мимоходом она вздумала сделать своего мужа герцогом Курляндским, но и это ей не удалось.

Все же Екатерина оплакивала, и непритворными слезами, отъезд своей беспокойной матери. Она сама в этом признается. Иоанна Елизавета, во всяком случае, ее мать и единственная среди ее нового величия, в чьей привязанности она не могла сомневаться, хотя и не доверяла ее советам. После ее отъезда вокруг Екатерины образовалась пустота. С этого же момента, в одиночестве, являющемся стихией сильных натур, началось настоящее воспитание будущей императрицы – то воспитание, о котором не подумала мадемуазель Кардель.

Глава третья

Вторичное воспитание Екатерины

I. Екатерина и ее супруг возвращаются к школьному возрасту. – Инструкции, написанные канцлером Бестужевым для воспитателя и воспитательницы их высочеств. – Обвинительный акт. – Грехи Екатерины. – Близость к Чернышевым. – Бесплодие супружеского великокняжеского ложа. – Кто виноват? – Неудача мер, принятых канцлером.

II. Новые строгости. – Перемены в штате Екатерины. – Отъезд Мардефельда. – Падение Лестока. – Новые слуги великой княгини. – Шкурин. – Владислава. – Одиночество.

III. Внутренняя жизнь двора. – Денежные неурядицы. – Как строят императорский дворец и как в нем живут. – Первые поэтические опыты Екатерины. – Нравственная неурядица. – Что видно в дверную щель. – Супружеская жизнь с великим князем. – Вкусы и интимные привычки Петра. – Собаки. – Пьянство. – Картонные солдатики и крепости. – Развлечения Екатерины. – Охота. – Верховая езда. – Танцы. – Чтение.

IV. Первые книжки Екатерины. – Романы. – Письма мадам де Севинье. – Исторические книги. – Мемуары Брантома.

V. Екатерина становится матерью. – Кто отец ребенка? – Десять лет бесплодного супружества. – Любовные развлечения. – Захар Чернышев. – Красавец Сергей. – Вмешательство причин государственной важности и хирургии. – Рождение великого князя Павла. – Странное отношение к родильнице. – Различные предположения.

VI. Еще большее одиночество. – Чтение и серьезные размышления. – Тацит, Монтескьё и Вольтер. – Старые придворные дамы Елизаветы. – Умственное и нравственное развитие.

I

Несмотря на развитой не по летам ум, Екатерина оставалась еще ребенком. Вопреки своему православному имени и официальному титулу она лишь чужестранка, благодаря случайности призванной в Россию и занявшая высокое положение; ей предстояло немало поработать, чтобы достигнуть уровня своей высокой судьбы. Если она сама и забыла это на время, – что, по-видимому, действительно до некоторой степени и случилось, – кто-то другой взял на себя труд ей это напомнить, и в довольно суровой форме. Достигнув цели,

то есть выйдя замуж, воспитанница мадемуазель Кардель как будто изменила свое прежнее безупречное поведение, заслужившее всеобщее одобрение. Даже «милостивые наставления» Христиана Августа как будто ею забыты. Она вскоре получила другие советы, уже не столь отеческие.

10 и 11 мая 1746 года, через неполных девять месяцев после свадьбы, императрице представлены к подписи два документа, касающиеся великого князя и великой княгини. Видимая цель их заключалась в избрании и установлении правил поведения для двух «знатных особ», которых собирались назначить гофмейстером и гофмейстериной их императорских высочеств. Настоящая цель их иная. В сущности, к Екатерине и ее супругу приставляли настоящих воспитателей. Их, так сказать, возвращали к школьному возрасту. Под видом программы дополнительного воспитания составлен настоящий обвинительный акт против юной супружеской четы, своим поведением вызвавшей эту меру. Автор обвинительного акта, редактор обоих документов – сам Бестужев.

Произведение канцлера сохранилось для потомства. Оно изобилует поистине изумительными разоблачениями – до того изумительными, что они могли бы возбудить недоверие, если бы мы не имели возможность сопоставить их с «Записками...» Екатерины. Она повторяет почти дословно все, что Бестужев говорит о жизни супругов в то время. В некоторых случаях Екатерина даже дополняет описание канцлера, и мы от нее же узнаем некоторые интимные подробности относительно ее самой. Посудите сами. «Знатная особа», призванная состоять при великом князе, должна будет, читаем мы в «инструкции», исправить некоторые непристойные привычки его императорского высочества, как, например, выливать за столом содержимое стакана на головы прислуги, говорить грубости и неприличные шутки лицам, имеющим честь быть приближенными к нему, и даже иностранцам, допущенным ко двору, публично гримасничать и коверкаться всем телом...

«Великий князь, – читаем мы в „Записках...“, – занимался непостижимыми в его возрасте ребячествами... Он велел сделать театр марионеток в своей комнате; ничего глупее этого нельзя было придумать... Он проводил свое время буквально в обществе лакеев... Великий князь составил полк из всей своей свиты: придворные лакеи, егеря, садовники – все получили мушкеты; коридор служил им кордегардией... Великий князь бранил меня за чрезмерную, по его мнению, набожность, в которую я вдавалась; но так как во время обедни ему не с кем было разговаривать, кроме меня, он перестал на меня дуться. Узнав, что я продолжаю поститься, он меня сильно выбранил...»

И в том и в другом описании вырисовывается один силуэт – невоспитанного и невежественного отрока, обладающего порочными инстинктами.

Посмотрим теперь, какова сама Екатерина. Канцлер формулировал против нее три главных обвинения: отсутствие усердия к православной вере; запрещенное ей вмешательство в государственные дела империи или герцогства Голштинского; чрезмерная фамильярность с молодыми вельможами, посещающими двор, с камер-юнкерами, даже с пажами и лакеями. По-видимому, последний пункт представляется наиболее важным. Это именно тот пункт, насчет которого Екатерина выразилась чрезвычайно ясно в своих «Записках...», и ее объяснения не оставляют никакого сомнения насчет фамильярности, если не сказать более, отношений, установившихся между нею и по крайней мере троими молодыми людьми, посещавшими двор, – троими братьями Чернышевыми, высокими, стройными и пользовавшимися особой благосклонностью великого князя. Старший, Андрей, самый блестящий из всех, стал вскоре любимцем Петра, а впоследствии и Екатерины. Она ласково называла его «сыночек мой», а он ее – «матушкой», что само по себе не имело ничего двусмысленного. Однако отсюда вытекала близость, казавшаяся менее невинной. Петр не только ее допускал, но даже поощрял, нередко забывая самые элементарные приличия. Он во всем любил крайности, и его не смущало ни собственное неприличие, ни непристойность окружающих.

Когда Екатерина была еще невестой, Андрею Чернышеву пришлось напомнить Петру, что ей суждено быть российской великой княгиней, а не госпожой Чернышевой. Петр расхохотался, услышав это замечание, показавшееся ему страшно забавным, и с тех пор стал звать молодого человека «женихом» Екатерины. Екатерина, со своей стороны, сознается: поставила себя в такое положение, что простой лакей, ее камердинер Тимофей Евреинов, решился предупредить ее об опасности, которой она подвергалась. Она, впрочем, утверждает, что действовала в полной невинности и неведении опасности. Тимофей предупредил также Чернышева, «заболевшего» по его совету на некоторое время. Это происходило на Масленицу 1746 года. В апреле, при обычном переезде двора из Зимнего дворца в летний, Чернышев снова появляется и пытается проникнуть в спальню Екатерины; она заграждает ему дорогу, не подумав о том, чтобы закрыть дверь, что было бы благоразумнее. Держа дверь приотворенной, она продолжает разговор, казавшийся ей, по-видимому, интересным. Вдруг появляется Девьер, один из героев Семилетней войны, исполнявший обязанности камергера при дворе и, по-видимому, шпиона. Он объявляет великой княгине, что великий князь просит ее к себе. На следующий день Чернышевы удалены от двора, и в тот же день появляется «знатная дама», призванная наблюдать за поведением Екатерины.

Совпадение многозначительно!

Елизавета, впрочем, не ограничивается этой мерой. Она приказывает Екатерине и Петру говеть и поручает Симеону Тодорскому, теперь уже епископу Псковскому, расспросить их насчет их отношений с Чернышевыми.

Чернышевы арестованы и также подвергаются еще более настойчивому и, вероятно, не столь мягкому допросу. Но ни с той, ни с другой стороны признаний не последовало. Однако Екатерина упоминает о переписке с Андреем Чернышевым, которую она вела даже во время его пребывания в тюрьме. Она писала – он отвечал; она давала поручения – он их исполнял. Предположим, что и в этом случае она поступала невинно. Однако нам придется вскоре быть менее снисходительными. Упреки страшного канцлера по адресу Екатерины касались еще и другой области, в которой он главным образом и намеревался возложить на нее ответственность. Прошло уже девять месяцев с того времени, как великая княгиня заняла роскошное супружеское ложе, столь подробно описанное ее матерью, а престолонаследие все еще не обеспечено. Лица, озабоченные будущностью империи, не имели даже возможности ухватиться за какую-нибудь надежду в этом направлении.

На ком лежала вина? Инструкция, составленная Бестужевым для будущей воспитательницы Екатерины, ясно обнаруживает его личное мнение относительно этого вопроса. В целях обеспечения престолонаследия великую княгиню надлежало побуждать, чтобы «она с своим супругом со всеудобовымышленным добром и приветливым поступком, его нраву угождением, уступлением, любовью, приятностью и горячностью обходилась и генерально все то употребляла, чем бы сердце его императорского высочества совершенно к себе привлеци, каким бы образом с ним в постоянном добром согласии жить».

Екатерина в своих «Записках...» категорически восстает против этого обвинения: «Если бы великий князь желал быть любимым, то относительно меня это вовсе было не трудно; я от природы была склонна и привычна к исполнению своих обязанностей...»

Ее склонности действительно впоследствии ясно обнаружились, и сомневаться в них не приходится. Но и Петр, со своей стороны, несмотря на странности характера и темперамента, как будто вовсе не обнаруживал в этом отношении отвращения.

Тотчас по приезде в Россию, четырнадцати лет от роду, он влюбился в фрейлину Лопухину. Затем другая фрейлина, Карр, пленяет его сердце, и Екатерине приходится выслушивать новые признания в пылкой любви к этой особе. В 1756 году он поссорился с Шафировой и знаменитой Воронцовой, с которой впоследствии снова сошелся, и влюбился в Теплову. Кроме того, ему к ужину приводят певичку-немку. Затем он ухаживает за некоей Седрапарре,

принцессой Курляндской и другими красавицами. Следовательно, загадка так и остается загадкой. Не следует ли искать ее разрешения в одном любопытном документе, изданном лишь недавно и подтверждающем предшествующие показания, почитавшиеся до сих пор сомнительными?..

«Великий князь, – пишет Шампо в донесении, составленном для версальского двора в 1758 году, – сам того не подозревая, был не способен производить детей вследствие препятствия, устраняемого у восточных народов посредством обрезания, но почитаемого им неизлечимым. Великая княгиня, не любившая его и не проникнутая еще сознанием необходимости иметь наследников, не была этим опечалена».

Кастера пишет, со своей стороны: «Он (великий князь) так стыдился несчастья, поразившего его, что у него не хватало даже решимости признаться в нем, и великая княгиня, принимавшая его ласки с отвращением и бывшая в то время такой же неопытной, как и он, не подумала ни утешить его, ни побудить искать средства, чтобы вернуть его в ее объятия».

Время оправдало Екатерину и ее защитников. Она имела детей, и имела или сделала вид, что имела их от мужа. Надо сознаться, что меры, придуманные канцлером, тут ни при чем.

Как ни велики способности и заслуги канцлера, он в данном случае не выказал особой мудрости. Может быть, он лучше умел управлять большой империей, чем жизнью юной супружеской четы. Выбор воспитательницы, призванной заменить собой мадемуазель Кардель, неудачен. Эта честь выпала на долю Марии Семеновны Чоглоковой; ей всего двадцать четыре года; она красива, добродетельна, любила мужа и имела детей, что, вероятно, вызвало доверие к ней императрицы и ее канцлера. Надлежало, чтобы великокняжеская чета имела всегда перед глазами назидательный пример добродетельных и любящих супругов. Увы, пример этот не привел к добру! Чоглокова добродетельна, но неопытна. Екатерина ее невзлюбила, и она не сумела ни заставить уважать себя, ни установить действительный надзор за великой княгиней. Не было ничего легче, как ее провести, и Екатерина с приближенными стала с увлечением предаваться запрещенным удовольствиям и отыскивать поводы к ним. Муж Марии Семеновны находился в Вене, когда его жена была назначена на свой пост. Вернувшись в Петербург, он без памяти влюбился в одну из фрейлин великой княгини, Марию Кошелеву. Будучи влюблен, он вдвойне ослеп и старался затуманить глаза и жене. Вследствие этого граф Кирилл Разумовский, брат фаворита императрицы, имел возможность ухаживать за великой княгиней если и не слишком смело, то, во всяком случае, весьма упорно. Несколько месяцев спустя дела пошли еще хуже. Муж воспитательницы, изменив фрейлине, воспылил страстью к той, за которой его жена была обязана следить. Великий князь, со своей стороны, ухаживал за всеми фрейлинами, и, таким образом, исполнение задачи Чоглоковой встретило еще большие затруднения.

Мысль обходиться с замужней женщиной и русской великой княгиней как с маленькой девочкой сама по себе несчастна, что и доказали последующие события. Екатерине строго запретили переписываться с кем бы то ни было, даже с отцом и матерью. Она должна ограничиваться подписыванием писем, составляемых для нее в Иностранной коллегии, то есть в секретариате Бестужева. Это равносильно приглашению Екатерины вести тайную переписку, столь часто практикуемую в то время. Она не преминула последовать приглашению.

В это же самое время в Петербург приехал кавалер Мальтийского ордена итальянец Сакромозо. В России уже давно не появлялось мальтийских кавалеров. Его очень чествовали; он приглашался на все празднества и приемы, как официальные, так и интимные. Однажды, целуя руку великой княгини, он сунул ей записку. «От вашей матери», – прошептал он чуть слышно. Вместе с тем он сообщил ей, что музыкант великокняжеского оркестра, его соотечественник Ололио, возьмется передать ему ответ. Екатерина быстро спрятала записку в перчатку. Ей, вероятно, не впервые приходилось это делать. Сакромозо,

впрочем, не обманул ее: письмо было действительно от матери. Написав ответ, она впервые стала прилежнее следить за концертами своего мужа. Музыку она не любила. Указанное ей лицо, увидев, что она приближается, вполне естественно вытащило платок, оставив карман своего кафтана широко раскрытым. Екатерина бросила свою записку в импровизированный почтовый ящик, и с этой минуты переписка установилась и продолжалась во все время пребывания Сакромозо в Петербурге.

Вот каким образом случается, что сводятся к нулю и мудрость государственных мужей, и мощь императрицы, когда они не считаются с другой мощью, именуемой молодостью, и с другой мудростью, предостерегающей от злоупотребления властью!

II

Приставив к Екатерине гувернантку, одновременно постарались отдалить от нее всех лиц, составлявших ее обычное общество и интимный кружок. Она приветствовала с радостью отъезд голштинца Брюммера, тем более что должность гофмаршала великокняжеского двора замещена князем Репниным. «Это любезнейший русский вельможа и умнейшая голова», — писал о нем д'Альон. Сама Екатерина его очень ценила и питала к нему большое доверие. К несчастью, он недолго оставался на своем посту и был заменен хоть и влюбчивым, но нелюбезным Чоглоковым. Екатерина его терпеть не могла, и его любовь к ней не обезоружила ее. Вскоре поочередно исчезли все слуги великой княгини. Ее лишили даже любимой горничной — финляндки. Настал черед и преданного Тимофея Евреинова, дававшего ей, однако, хорошие советы. Правда, он оказывал ей услуги, которые не всегда могли казаться доброжелательными в глазах других: передал письмо от Андрея Чернышева, проезжавшего через Москву по дороге в Сибирь. Сам Тимофей сослан в Казань, где стал полицеймейстером, а затем дослужился до чина полковника. Так делались тогда дела в России! Он был честен и, по-видимому, не обогатился на своем посту, так как через шестнадцать лет, вскоре после своего вступления на престол, Екатерина писала Олсуфьеву: «Я тебе поручаю выбрать место, или, одним словом сказать, хлеба дать Андрею Чернышеву, генерал-адъютанту бывшего императора, да отставному полковнику Тимофею Евреинову... *An nom de Dieu, défaitesmoi de leur prière; ils ont souffert pour moi autre fois et je leur laisse battre le pavé, faute de savoir quoi en faire*»⁶. Бестужев направил свои удары главным образом против иностранцев, состоявших при особах великого князя или великой княгини или пользовавшихся их доверием. 29 апреля 1747 года д'Альон возвещал об отбытии в Германию Бредаля, «обер-егермейстера великого князя, как герцога Голштинского»; Дюлешинкера, его камергера, племянника Брюммера; Крамса, его камердинера, «состоявшего при его высочестве с малолетства»; Штелина, «учителя истории», и Батьена, его егеря. Из иностранцев оставались при дворе лишь фельдмаршал Миних, не имевший никакого влияния, и Лесток, «поддерживаемый своим ланцетом, некоторыми понятными опасениями и знанием бесчисленного множества анекдотов».

Вокруг Екатерины образовывалась всё большая пустота. В июне 1746 года посланник Фридриха, друг и советник ее матери Мардефельд, принужден окончательно покинуть свой пост. Два года спустя на придворном балу она хотела подойти к Лестоку, но он уклонился от разговора. «Не подходите ко мне, — прошептал он, — я в подозрении. — И добавил еще раз: — Не подходите!» Он был красен, глаза его блуждали, Екатерине показалось, что он пьян. Это происходило в пятницу 11 ноября 1748 года.

⁶ «Во имя Всевышнего избавьте меня от их просьб! Они пострадали из-за меня в прошлом, и я их оставила без пристанища, а теперь не знаю, что делать» (*фр.*).

В предыдущую среду был арестован один француз, по фамилии Шапуро, родственник Лестока и капитан Ингерманландского полка. Два дня спустя подобная же участь постигла и самого Лестока. Его обвиняли в том, что он вошел в тайные и невыгодные для России сношения с французским, прусским и шведским дворами. Его пытали, но он мужественно выдержал самые ужасные мучения, никого не выдав. Целый год провел в тюрьме и наконец был сослан в Углич.

Эта катастрофа, вероятно, окончательно прояснила Екатерине цену политических начинаний, которые мать хотела оставить ей в наследство, и хрупкость их оснований. Она также ускорила дело перерождения и ассимиляции, инстинктивно начатое невестой Петра путем изучения языка своего нового отечества и поручения себя духовному руководству архимандрита Тодорского. Один русский писатель усмотрел характерный симптом быстрых успехов, достигнутых великой княгиней в этом направлении, комментируя на свой лад отрывок из «Записок...», относящийся к этому времени. Заместитель Тимофея Евреинова, некий Шкурин, вздумал заниматься доносами и сплетнями насчет Екатерины; тогда она вышла в гардеробную, где он обыкновенно стоял, и изо всей силы дала ему пощечину, прибавив, что велит его высечь. Оказывается, поступок этот был чисто русский – немецкой принцессе и в голову не пришел бы подобный образ действия. Само собой разумеется, мы оставляем ответственность за это толкование на его авторе (Бильбасове).

С другой стороны, смена окружения имела ту хорошую сторону, что Екатерина знакомилась с многими людьми, имела возможность изучать большое количество образчиков человечества; вместе с тем она принуждена менять и свой образ действий применительно к разнообразным характерам, положениям и комбинациям. Она обязана этому если не знанием людей, которым никогда не обладала, то, по крайней мере, приобретением гибкости и упругости характера, обнаруженных ею впоследствии, и не менее изумительным искусством пользоваться людьми – дурными ли, хорошими ли, – попадавшимися ей под руку (она никогда не умела их выбирать), и извлекать из них все, на что они были способны.

Впрочем, не все навязанные перемены в штате неприятны или стеснительны для нее. Шкурин оказался впоследствии преданным и скромным слугою, а обменяв немку Крузе, свою камер-фрау, на русскую Прасковью Никитичну Владиславову, Екатерина сделала очень выгодное и ценное приобретение. Прасковья не только преданная служанка: она более чем кто-либо знакомила будущую царицу с жизнью, которую ей суждено отныне вести, и с бытом народа, которым она призвана управлять. Она знала эту жизнь, темную во многих отношениях и недоступную, как закрытая книга; знала и прошлое, включая подробности, оттененные анекдотами, и настоящее, включая малейшие городские и придворные сплетни. В каждой семье помнила четыре-пять поколений и безошибочно перечисляла все родство: отца, мать, дедов, двоюродных братьев и сестер по мужской и женской, восходящей и нисходящей линиям. Она тонка и находчива. После мадемуазель Кардель более всех потрудились над воспитанием Екатерины; первая подготовила в ней будущего друга философов, а вторая – «матушку государыню», столь близкую русским сердцам. Но, повторяем мы, настоящим воспитателем великой императрицы стало одиночество, на которое обрекало ее равнодушие мужа и постепенная утрата всякой поддержки среди двора, создавшего ей на первых порах приятную жизнь и за наружным блеском не замедлившего причинить всевозможные неприятности. Здесь уместно бросить беглый взгляд на среду, в которой протекли долгие годы испытаний, ожидания и борьбы, мужественно выдержанные ею до конца.

III

Россия восемнадцатого века – это здание, состоящее из одного только фасада. Это театральная декорация. Петр I поставил двор на европейскую ногу, и его преемники, по

крайней мере в этом отношении, поддержали и развили его дело. Как в Петербурге, так и в Москве Елизавета окружена всей пышностью и великолепием, свойственными цивилизованным государствам. В ее дворцах мы видим целые анфилады зал, украшенных зеркалами, мозаичный паркет и потолки разрисованы художниками. На празднествах толпятся придворные, одетые в шелка и бархат, усыпанные золотом и бриллиантами дамы, одетые по последней моде, с напудренными волосами, нарумяненные и с пленительными мушками на уголках губ. Ее свита, штаты, камергеры, придворные дамы и лакеи своим числом и роскошью мундиров не имеют равных в Европе. Согласно многим современным свидетелям – некоторые русские писатели отнеслись к ним, по нашему мнению, слишком доверчиво, – императорская резиденция в Петергофе превосходит великолепием Версаль. Чтобы составить себе суждение об этом, рассмотрим пристальнее в эту кажущуюся роскошь.

Во-первых, есть одна ненадежная, непрочная сторона, в значительной мере лишаящая ее ценности. Дворец ее величества деревянный, как и почти все дворцы подданных. Когда они горят, что случается довольно часто, гибнут и все богатства, собранные в них, – драгоценная мебель, художественные предметы. Их строили вновь всегда поспешно и небрежно, не думая о том, чтобы придать им большую прочность. На глазах Екатерины за три часа сгорает московский дворец, имевший три версты в окружности. Елизавета повелела, чтобы его выстроили вновь за шесть недель, – приказание исполнено. Можно представить, какова постройка. Двери не закрываются, из окон дует, печи дымят. Архиерейский дом, где жила Екатерина после пожара, загорался три раза за время ее пребывания.

Кроме того, в этих роскошных внешне дворцах нет и следа комфорта и удобства. Всюду великолепные приемные покои, чудесные бальные и банкетные залы, а жильем служили несколько узких комнат, лишенных света и воздуха. Покои Екатерины в летнем дворце в Петербурге выходили с одной стороны на Фонтанку, представлявшую тогда зловонную лужу, с другой – на маленький дворик. В Москве еще хуже. «Нас поместили, – пишет Екатерина, – в деревянном флигеле, выстроенном лишь осенью; вода текла со стен, и все помещение страшно сыро. Этот флигель состоял из двух рядов помещений, по пять или шесть больших комнат. Комнаты, выходившие на улицу, отведены мне, остальные – великому князю. В моей уборной помещались мои девушки и горничные со своими прислужницами, всего семнадцать женщин в комнате с тремя большими окнами, но с одной только дверью, выходившей в мою спальню, через которую они и принуждены проходить за всякого рода нуждами... Кроме того, столовая их помещалась в моей передней». В конце концов установился другой способ сообщения с внешним миром – посредством простой доски, прилаженной к окну и служившей лестницей. Как видите, до Версаля еще далеко!

Екатерине приходилось не раз сожалеть о своем скромном прежнем жилище, в соседстве с колокольней, в Щецине или вспоминать с восторгом замок своего дяди в Цербсте или бабушки в Гамбурге. То были грубые, но прочные и просторные каменные постройки, относящиеся еще к шестнадцатому веку. В отместку за неудобства, которые она претерпевала за кулисами декоративной пышности своего нового, великолепного помещения, Екатерина написала следующие стихи, найденные впоследствии в ее бумагах:

Jean bâtit une maison
Qui n'a ni rime, ni raison:
L'hiver on y gele tout roide,
L'été ne la rend pas froide,
Il y oublia l'escalier
Puis le bâtit en espalier...⁷

⁷ Жан строит дом —/ Нет никакого смысла в нем; / Зимой там все коченеет от холода, / Летом он не прогревается, /

Дворцы Елизаветы скверно выстроены и не лучше меблированы. Происходило это вследствие того, что принадлежность мебелировки к известному дому была тогда обычаем, неизвестным в России. Мебель, как бы принадлежность лица, следовала за ним в его путешествиях. Это походило на пережиток кочевой жизни восточных народов. Обивка, ковры, зеркала, кровати, столы, стулья, предметы роскоши и предметы первой необходимости переезжали вместе с двором из Зимнего дворца в летний, оттуда в Петергоф и Москву. Конечно, много вещей ломалось и терялось в пути. Таким образом, получалось странное смешение роскоши и убожества. Ели на золотой посуде, поставленной на стол со сломанной ножкой. Среди шедевров французского и английского искусства не на чем сидеть. В доме Чоглокова в Москве, где Екатерине пришлось жить некоторое время, мебели не было вовсе. Сама Елизавета нередко находилась в том же положении, но ежедневно пила чай из чашки, привезенной по ее приказанию Румянцевым из Константинополя и стоившей 8 тысяч дукатов.

Этому материальному беспорядку, которым разрушалось внешнее величие, соответствовала в нравственном отношении какая-то внутренняя разнузданность, в которой, несмотря на утонченный этикет, поминутно утопало достоинство самого трона. Следующее происшествие, рассказанное нам Екатериной в «Записках...», дает представление об этом. Незадолго до вмешательства Бестужева, послужившего поводом к вышеуказанным переменам в штате Екатерины и ее супруга, Петр совершил проступок, который, пожалуй, если и не вызвал, то, по меньшей мере, оправдал строгости канцлера и побудил императрицу их одобрить. Комната, где великий князь устроил свой театр марионеток, сообщалась дверью с одной из гостиных императрицы. Когда всю половину отдали молодой чете, дверь заперли. Елизавета велела поставить в этой гостиной обеденный стол и иногда обедала здесь с приближенными. Обеды интимные, а сервировка стола такова, что можно обходиться без слуг. Однажды Петр, услышав веселые голоса и звон рюмок, вздумал просверлить несколько дырочек в двери. Посмотрев в щелку, он увидел за столом императрицу, обер-егермейстера Разумовского, в халате, и человек двенадцать придворных. Это зрелище показалось Петру чрезвычайно забавным, и, не желая наслаждаться им в одиночестве, он позвал Екатерину. Она, однако, уклонилась от приглашения и даже дала понять мужу все неприличие и опасность подобного развлечения. Он не обратил на ее слова внимания и пригласил фрейлин, заставил их влезть на стулья и табуреты, чтобы лучше видеть, и устроил целый амфитеатр перед дверью, за которой выставлялось напоказ бесчестие его благодетельницы. Вскоре об этом узнали; императрица страшно разгневалась. Она даже напомнила племяннику, что Петр I тоже имел неблагодарного сына, а это равносильно объявлению, что голова его держится на плечах не прочнее головы несчастного Алексея. Весь двор узнал об этом инциденте.

Что касается Екатерины, она извлекла из этого урок если не морали, чего, по-видимому, не случилось, то практической мудрости. Если и возле нее впоследствии сидели фавориты в халате, она все же устраивала так, что их нельзя было видеть в дверную щелку. Или прятала их, или заставляла толпу их почитать, создавая им соответственные величественные рамки. Получила она от Елизаветы и другие ценные указания. Отказалась нарушить тайну интимных пиршеств, во время которых императрица позволяла себе забывать свое величие, но зато присутствовала вскоре после отъезда принцессы Цербстской, 25 ноября, при парадном обеде, которым каждый год отмечался день вступления на престол дочери Петра Великого. В большой зале Зимнего дворца стол был накрыт для трехсот пятидесяти унтер-офицеров и солдат полка, в тот день сопровождавшего Елизавету на завоевание своей короны. Императрица, в мундире капитана, в ботфортах, с саблей на боку и белым пером на шапке, сидела среди своих «камрадов». Придворные чины, высшие офицеры и иностранные

министры находились в соседней комнате. Екатерина, с ранних пор имея перед глазами это зрелище, задумывалась над ним, и потому она, вероятно, сумела в нужный момент с такой грациозной непосредственностью надеть военную одежду и в свою очередь возбудить энтузиазм и привлечь содействие этих же самых гренадер, подготовленных уроками прошлого к смелым предприятиям.

Чаще всего великий князь был занят своими удовольствиями и любовными увлечениями, но иногда он вдруг возвращался к Екатерине. Эти минуты не были лучшими в ее жизни. В продолжение целой зимы он только и говорил с Екатериной, что о своем плане построить рядом со своей дачей дом, во всем похожий на капуцинский монастырь. Чтобы быть ему приятной, ей пришлось сто раз перерисовывать план этого здания. Не в этом заключалось, однако, ее самое жестокое испытание. Присутствие великого князя влекло за собой и постоянное соседство своры собак, помещавшихся в супружеском апартаменте и распространявших невыносимый запах. Императрица запретила держать собак, и потому Петр вздумал спрятать их в общий альков, вследствие чего ночи Екатерины стали настоящим мучением. Днем лай и пронзительный визг часто избиваемых собак не давал ей ни минуты покоя. Когда свора молчала, Петр брал свою скрипку и ходил с ней из комнаты в комнату, стараясь производить возможно больше шума на своем инструменте. Он вообще любил шум. Кроме того, все более обнаруживал пристрастие к спиртным напиткам. С 1753 года напивался «почти ежедневно». В этом отношении Елизавета не могла по понятным причинам набрасывать на него узду. Изредка он возвращался к своим марионеткам. Однажды Екатерина нашла его стоящим в парадном мундире, в ботфортах и с обнаженной саблей посреди комнаты перед крысой, подвешенной под потолок. Оказывается, несчастная крыса съела часового из крахмала, стоявшего перед картонной крепостью, и военный совет, собравшийся по всем правилам, приговорил ее к смертной казни.

Без сомнения, Екатерина, несмотря на молодость и страстность темперамента, не выдержала бы испытаний подобной жизни, если бы не приобрела некоторых привычек, дававших возможность иногда покидать печальный дом и нравственно отдыхать. Летом в Ораниенбауме она вставала с зарей и, быстро одевшись в мужской костюм, уезжала на охоту в сопровождении старого слуги. «Совсем близко на берегу моря была рыбацья лодка, мы шли через сад пешком, держа ружья на плече, и затем я, слуга, рыбак и собака садились в лодку, и я охотилась на уток, сидевших в камышах, окаймлявших воду по обеим сторонам ораниенбаумского канала». Кроме охоты, другим поводом к частым отлучкам Екатерины служила верховая езда. Елизавета сама была страстной наездницей. Однако она сдерживала нарождавшееся увлечение Екатерины этим спортом. Великая княгиня в особенности любила ездить по-мужски на плоском седле с двумя стремянами. Императрица усмотрела в этом одну из причин, препятствовавших ей иметь детей. Тогда Екатерина придумала снабдить свое седло особым приспособлением, позволявшим ей ездить по-дамски на глазах у Елизаветы и тотчас же переменять положение, как только лошадь уносила ее из виду. Юбка, разделенная надвое во всю длину, облегчала эту метаморфозу. Она брала уроки у наездника-немца, инструктора в кадетском корпусе, и за быстрые успехи получила почетные серебряные шпоры.

Увлекалась и танцами. Однажды вечером на одном из балов, которыми Елизавета, любившая движение и шум, увеселяла свой двор, великая княгиня поспорила с женой саксонского министра Арнгейма о том, кто скорее уснет. Она выиграла. Однако все эти развлечения не могли заполнить пустоту долгих зимних дней.

IV

Граф Гюлленбург посоветовал ей читать Плутарха и Монтескьё. Графиня Головина утверждает в своих записках, оставшихся неизданными, что Лесток первый направил ее по

этому пути, дав читать «Словарь» Бейля. Вряд ли Екатерина начала свое чтение со столь серьезного труда. Она сама, впрочем, сообщает нам некоторые подробности: «Первая моя книга была „Tiran le Blanc”». Начала с романов, составлявших обычное чтение окружавших ее лиц. По-видимому, прочла их много. Не приводит заглавий, но утверждает, что некоторые из них надоедали ей своими длиннотами.

Из этих сообщений Екатерины можно заключить, как это сделал В. А. Бильбасов⁸, что она прочла романы Лакальпренеда, мадемуазель де Скюдери, может быть, «Астрея» и, вероятно, «Les amours pastorales de Daphnis et Chloé»⁹. Чувственные описания, которые она в них нашла, и непристойность, непревзойденная в наши дни, не способствовали ли развитию некоторых склонностей, державших ее впоследствии в своей власти? Это весьма возможно. Она узнала, какие уроки добрая соседка Ликсония преподавала Дафнису и как она сообщила их невинной Хлое; как «Дафнис сел возле нее и поцеловал ее и затем лег; Ликсония нашла, что он готов, приподняла его и скользнула под него...». Перевод Амио сочинения Лонга имел тогда успех, о котором свидетельствует число его изданий, а отрывки вроде вышеприведенного не пугали даже самых «честных женщин». Роман мадемуазель де Скюдери явился протестом против слишком грубого реализма этой литературы, вплоть до того момента, когда реакция, вызванная им, в свою очередь пала под давлением скуки. Таким образом, история литературных эволюций в общем ходе человеческих дел является лишь вечным повторением одного и того же.

Хотя Екатерине и трудно было гордиться сведениями, почерпнутыми из этого мутного источника, она все же извлекла из него огромную пользу – любовь к чтению вообще. Когда она оставила романы, наскучив ими или получив к ним отвращение, она уже пристрастилась читать и принялась за другие книги. Читала много и без разбору, что попадалось под руку. Так, ознакомилась с «Письмами» мадам де Севинье; они привели ее в восторг, проглотила их, по собственному ее выражению; без сомнения, там и почерпнула свое пристрастие к эпистолярному стилю, как отчасти и фамильярный отрывистый слог ее писем, отнюдь, однако, не напоминающих прелестную грацию образца. Она стала лишь немецкой Севинье, вносящей в самые смелые полеты своего пера немного той немецкой тяжеловесности, от которой Гейне и Берне освободились лишь благодаря особому смешению рас.

После «Писем» мадам де Севинье настал черед Вольтера. Семнадцать лет спустя Екатерина писала фернейскому патриарху: «Могу вас уверить, что с тех пор как я располагаю своим временем, то есть с 1746 года, я многим вам обязана. До того я читала лишь романы, но случайно ваши сочинения попали мне в руки; с тех пор я их беспрестанно читаю и не хотела уже читать хуже написанных книг». Память изменила императрице, когда она писала эти строки, так как в своих «Записках...» она упоминает лишь об одном сочинении Вольтера, прочитанном ею в то время; она не помнит даже его названия; к тому же она не особенно льстила великому философу, говоря о прочитанных ею столь же хорошо написанных книгах. Какие же были эти книги? «Жизнь Генриха Великого» Перефикса, «История Германской империи» Барра и главным образом – Екатерина не стесняясь сознается, что находила в этом чтении особое удовольствие, – сочинения Брантома. Вольтеру не приходилось особенно гордиться этим сравнением, тем более что влияние Перефикса на августейшую читательницу соперничало с его влиянием. Генрих IV всегда оставался в представлении Екатерины несравненным героем, великим королем и образцовым государем. Она заказала его бюст Фальконету. Неоднократно выражала, между прочим и в письмах к фернейскому патриарху, сожа-

⁸ Это заглавие, очень заинтересовавшее Бильбасова, является заглавием одного испанского рыцарского романа, Жуана Марторелли, изданного в Валенсии в 1400 г. Сервантес называет его «сокровищницей удовольствия и кладом для препровождения времени». Герой его, простой рыцарь, завладевший троном Константинополя, не имеет ничего общего, как то полагает г. Бильбасов, с американской птицей (Tirannus albus).

⁹ «Любовь Дафниса и Хлои» (фр.).

ление, что ей не суждено встретить столь достойного удивления монарха. Но надеялась, что на том свете будет наслаждаться его обществом. Полагает, что во время революции политика великого Генриха спасла бы Францию и монархию. Этим поклонением объясняется и ее снисходительность к некоторым слабостям и отклонениям от прямого пути, свойственным любовнику красавицы Габриэли, и спокойная уверенность, с какой она не считала их несовместимыми с саном государя и общим направлением великого царствования. По всей вероятности, строгие размышления Перефикса на этот счет для нее недостаточно убедительны; она ведь прочла у него следующие слова: «Для величия его памяти следовало бы пожелать, чтобы у него не было другого недостатка, кроме страсти к игре. Но другой его слабостью, гораздо более прискорбной в христианском государе, являлось его пристрастие к красивым женщинам». Она удовлетворилась лишь данным ей примером, оставив в стороне моральную его сторону.

Чтение Брантома, так «заинтересовавшего» ее, как она наивно выражается, оказало, вероятно, более прямое и сильное влияние на ход ее мыслей. От нее не ускользнуло суждение о Монтомери, «который самым беспечным и небрежным образом исполнял свои обязанности, так как очень любил вино, игру и женщин; но верхом, в седле, он становился храбрейшим и достойнейшим военачальником». Она отметила и характеристику Иоанны II Неаполитанской, и странные комментарии автора: «Эта королева пользовалась славой женщины развращенной и непостоянной; говорили, что она всегда была в кого-нибудь влюблена и наслаждалась страстью различным образом и с несколькими мужчинами. Однако в великой и красивой королеве этот порок наименее предосудительный... Красивые и знатные дамы должны походить на солнце, разливающее свет и теплоту на всех, так что каждый его чувствует. Так и эти знатные красавицы должны расточать свою красоту всем, кто к ним пламенеет. Те красивые и знатные дамы, которые могут удовлетворить многих людей – благосклонностью ли, словами ли, красивыми лицами, общением, всякими сладостными изъявлениями и доказательствами или, что еще предпочтительнее, восхитительными действиями, – те не должны останавливаться на одной любви, но должны иметь их несколько: подобное непостоянство прекрасно и дозволено им».

После Брантома «История Германской империи» Барра, вероятно, показалась Екатерине довольно неудобоваримой. Она пишет в «Записках...», что читала по одному тому в неделю. Как бы сознается, что у нее не хватило терпения прочесть все до конца, так как упоминает лишь о девяти томах из одиннадцати (в издании 1748 г.). Тем менее правдоподобно, что чтение этого сочинения неблагоприятно повлияло на ее отношение к Фридриху II и прусской политике. Фридрих II и его политика являются на сцену лишь в двух последних томах Барра. К тому же Екатерина познакомилась с этим сочинением в 1749 году, вскоре после его появления; поэтому, если ее предубеждение коренилось здесь, оно, очевидно, долгое время не проявлялось, так как даже в 1771 году, при первом разделе Польши, его нет и следа. Гораздо вероятнее, что Екатерина обязана Барру своими первыми сведениями о германских делах, о силах и интересах, соперничавших в великом германском организме, так как ее пребывание в Щецине и Цербсте дало ей о них лишь самые смутные и несовершенные понятия.

Что касается «Словаря» Бейля, трудно себе представить, какое впечатление произвела подобная книга на читательницу двадцати двух – двадцати трех лет; первый том она прочла в 1751 году. Екатерина уверяет, что прочла целиком все четыре тома *in folio*, в которых этот предшественник энциклопедистов излагает результаты интеллектуальной культуры своей эпохи. Но, не зная ни греческого, ни латинского языков, она, по-видимому, должна пропустить многочисленные цитаты, которые составляют у Бейля добрую половину его труда. Присоединим к ним еще четвертую часть, посвященную религиозным спорам и философским диспутам, в которых она вряд ли что-нибудь поняла. Вероятно, лишь пробе-

жала остальное, так как трудно читать словарь в обыкновенном смысле этого слова. Может быть, почерпнула там кое-какие понятия, которыми и воспользовалась впоследствии. Доктрина о народовластии, смело выдвинутая автором, имела, по-видимому, некоторое, пусть и мимолетное, влияние на ее суждения и вдохновила ее первые законодательные попытки, хотя она и не сочла нужным «согласиться с Бейлем, что короли большие мошенники». Но все же ее поразила мысль, что «правила управления несовместимы с самой щепетильной честностью». К тому же она прониклась сознанием, что ни религиозная этика, ни ходячая мораль, ни катехизис Лютера, ни учение Симеона Тодорского, ни мудрые уроки мадемуазель Кардель и строгие принципы Христиана Августа не выносили ни холодной критики такого философа, как Бейль, ни высокомерной оценки такого опытного человека, как Брантом, и что в глазах как того, так и другого не существовало ни вечных истин, ни абсолютных принципов.

В 1754 году она погружена в подобные размышления, но давно ожидаемое событие прервало ее чтение, расстроило обычное, довольно монотонное течение ее жизни и внесло в эту жизнь значительные перемены. Она сделалась матерью.

V

Как это случилось? Вопрос кажется странным, однако ни один пункт во всей ее биографии не вызывал столько прений и споров. Не следует забывать, что прошло уже десять лет со свадьбы великой княгини, десять лет, в течение которых ее союз с Петром оставался бесплодным, а отношения супругов становились все холоднее. Письмо великого князя к жене, помещенное в приложении к русскому переводу «Записок...» Екатерины и относящееся к 1746 году, довольно ясно указывает на полный разрыв. Вот оно дословно:

«Madam,

«Je vous prie de ne point vous incommoder cette nuit de dormir avec moi car il n'est plus le tems de me tromper, le lit a été trop étroit, après deux semaines de separation de vous aujourd'hui apres mide. Votre très intortuné mari qui vous ne daignez jamais de ce nom.

Peter»¹⁰.

Между тем, несмотря на уединенную жизнь и строгий надзор, Екатерина подвергалась многочисленным искушениям и преследованиям, добродетель ее находилась в постоянной опасности, и сама она, по выражению русского историка, как бы погружена в атмосферу любви.

В своих «Записках...» она сознается, что, не будучи, собственно говоря, красивой, все же умела нравиться; в этом заключалась ее «сила». Она звала любовь и распространяла ее вокруг себя. Мы видели, как муж ее наставницы сам пал жертвой этой «эпидемии». Екатерина избегла, надо сказать, первых опасностей. Не похитила у Марии Семеновны ласки ее мужа, но в этом мало заслуги с ее стороны, так как она находила его некрасивым, глупым и неуклюжим как телом, так и умом. Смертельно скучала летом 1749 года, часть которого ей пришлось провести в имении Чоглоковых – Раеве. Почти каждый день виделась с молодым графом Кириллом Разумовским, соседом по имению, приезжавшим обедать и ужинать и возвращавшимся затем в Покровское, делая, таким образом, каждый раз верст шестьдесят. Двадцать лет спустя Екатерине вздумалось спросить, что побуждало его приезжать каждый

¹⁰ «Мадам, я прошу Вас не мучить себя сном вместе со мною, чтобы не обманываться: постель стала слишком узкой после двух недель Вашего отсутствия. Сего дня после полудня. Ваш несчастный муж, которого Вы не сообразовали ни разу так называть. *Петр*» (фр.).

день и делить скуку великокняжеского двора, когда он имел возможность собирать в собственном своем доме лучшее московское общество. «Любовь», – ответил он, не колеблясь ни секунды. «Любовь? Но кого же вы могли любить в Раеве?» – «Вас». Она расхохоталась. Ей это и в голову не приходило.

Дела не всегда обстояли так. Чоглоков некрасив, Разумовский слишком скромен. Явились другие, не обладавшие ни недостатком одного, ни достоинствами другого. Во-первых, при дворе в 1751 году появился снова Захар Чернышев, удаленный в 1745 году. Он находит, что Екатерина похорошела, и не стесняясь высказывает ей это. Она с удовольствием его слушает. Во время бала, когда по моде того времени гости обмениваются «девизами» – узенькими бумажками, на которых написаны стихи, более или менее удачные, смотря по находчивости сочинителя, он посылает ей любовную записку, полную страстных признаний. Эта игра ей нравится, и она с удовольствием ее продолжает. Он хочет проникнуть в ее комнату, намереваясь переодеться для этого лакеем, но она указывает ему на опасность такого предприятия, и они возвращаются к переписке посредством «девизов».

Часть этой переписки нам известна: издана без обозначения автора как образчик слога знатной дамы восемнадцатого века, состоящей в переписке со своим любовником. Содержание ее не оставляет сомнений в том, что Захар Чернышев имел право на это звание.

После Чернышевых наступает черед Салтыковых. Среди камергеров великокняжеского двора два брата Салтыковы, принадлежавшие к одной из самых старинных и знатных русских фамилий. Отец их – генерал-адъютант; мать, урожденная княжна Голицына, в 1740 году оказала Елизавете услуги, о которых принцесса Цербстская имела особые сведения: «Салтыкова пленяла целые семьи. Она делала больше. Она была красива и вела себя так странно, что лучше было бы, если бы ее поведение не стало известно потомкам. Она ходила с одной из своих служанок в казармы, отдавалась солдатам, напивалась с ними, играла, проигрывала, давала им выигрывать... Все триста гренадеров, сопровождавших ее величество, были ее любовниками». Старший брат, Петр, обижен природой и мог, по мнению Екатерины, соперничать умом и красотой с Чоглоковым. Младший, Сергей, «красив, как день». В 1752 году ему двадцать шесть лет, и он уже два года женат на фрейлине императрицы Матрене Павловне Балк. Это брак по любви. В то время Екатерина заметила, что он за ней ухаживает. Она почти каждый день посещала Чоглокову, которая, будучи беременной и нездоровой, не выходила из дому. Неизменно встречая там Сергея Салтыкова, она догадалась, что он приходил не ради хозяйки дома. По-видимому, она уже стала опытнее. Вскоре, впрочем, Салтыков окончательно открыл ей глаза на этот счет. Надзор Чоглоковой к тому времени ослабел. Он придумал способ обезвредить и ее мужа; влюбленный в великую княгиню, он мог быть препятствием: Салтыков открыл в нем необыкновенный талант к стихотворству. Добрый Чоглоков, очень этим польщенный, сидя в углу, писал стихи на темы, которые без конца ему давали. В это время остальные разговаривали не стесняясь. Красавец Сергей не только самым красивым человеком при дворе, но и весьма находчивым – «настоящий демон интриги», говорила Екатерина. Молча выслушала его первое признание, не намереваясь, вероятно, прекращать дальнейшие излияния. Наконец спросила, чего он от нее хочет. Он описал самыми яркими красками счастье, которого ожидает от нее. «А ваша жена?» – спросила она. Это почти равнялось признанию и сводило расстояние, разделявшее их, к очень хрупкому препятствию. Он этим не смутился и решительно выбросил за борт бедную Матрену Павловну, объявив, что то было лишь юношеское увлечение, ошибка, и рассказав, как скоро «это золото превратилось в простой свинец». Екатерина уверяет, однако, что она сделала все, что могла, чтобы отвлечь его, намекнув даже, что он опоздал.

«Почем вы знаете? Может быть, мое сердце уже занято?» Средство это выбрано неудачно. На самом деле, как сознается Екатерина, главное препятствие к избавлению от красивого соблазнителя заключалось в том, что он ей сильно нравился. Однажды Чоглоков

устроил охоту, во время которой представился случай, давно поджидаемый Сергеем. Они оставались вдвоем в продолжение полутора часов; чтобы положить конец этому свиданию, Екатерине пришлось прибегнуть к героическим средствам. Эта сцена прелестно описана в «Записках...»! Перед тем как удалиться, Салтыков хотел заставить ее признаться, что она к нему равнодушна. «Да, да, но только уходите!» – «Хорошо, слово дано!» – воскликнул он и пришпорил лошадь. Она хотела вернуть роковое слово и крикнула ему вслед: «Нет, нет!» Он отвечал: «Да, да!» На этом они расстались, чтобы вскоре снова сойтись.

Спустя некоторое время Сергею Салтыкову пришлось покинуть двор. Распространились слухи о его отношении к великой княгине, вызвавшие вмешательство Елизаветы. Императрица сильно выбранила Чоглоковых, а Сергею велено было уехать на месяц в отпуск, к родным в деревню.

Он заболел, вернулся лишь в феврале 1753 года и тотчас снова вступил в интимный кружок, образовавшийся вокруг Екатерины, где первые места отведены молодым людям и где часто появлялся другой родовитый и красивый кавалер, Лев Нарышкин. Он уже играл ту роль шута, которую продолжал играть и в лучшие дни будущего царствования, но в то время не ограничивал ею своего честолюбия. Екатерина была тогда в самых лучших отношениях с Чоглоковыми. Она сумела привязать к себе жену, доказав ей, что отвергает ухаживания мужа, и сделать из последнего своего раба, ловко поддерживая его надежды. Она могла надеяться на их доверие и скромность. Из осторожности ли или вследствие природного непостоянства Сергей был теперь более сдержан, так что роли переменились и Екатерине приходилось сетовать на его холодность. Вскоре, однако, новое и на этот раз совершенно неожиданное вмешательство верховной власти дало иное направление второй главе этого устаревшего уже романа. Трудно рассказать об этом происшествии; еще труднее считать его действительно совершившимся, не будь свидетельства самой Екатерины. В каких-нибудь несколько дней Салтыков призван к Бестужеву, а Екатерина имела разговор с Чоглоковой, и оба услышали удивившее их откровение. Говоря, по-видимому, от имени императрицы, воспитательница, оберегавшая добродетель великой княгини и честь ее супруга, объяснила молодой женщине, что бывают случаи, когда государственные соображения должны одержать верх над всякими другими, даже над законным желанием супруги остаться верной мужу, если последний не в состоянии обеспечить спокойствие империи в вопросе престолонаследия.

В заключение Екатерине категорически предложено выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным, причем Чоглокова убеждена, что Екатерина предпочтет последнего. Она запротестовала. «В таком случае – другой!» – объявила воспитательница. Екатерина промолчала с большой сдержанностью. Бестужев говорил в том же плане и с Сергеем Салтыковым.

Между тем Екатерина беременела три раза подряд и после двух выкидышей родила наконец, 20 сентября 1754 года, сына. Кто был отцом ребенка? Теперь уже понятно, почему вопрос этот вполне уместен. Вот как он разрешен в одном документе, существенные части которого, относящиеся до этого пункта истории, еще не были изданы. Это записка Шампо, уже цитированная нами:

«Великая княгиня, увлекаемая тайным расположением, слушала его (Салтыкова) и убеждала его победить свою страсть. Однажды разговор был очень оживлен. Салтыков говорил ей со всей страстью, которая его одушевляла; она отвечала ему горячо, умилилась, была тронута и, расставаясь с ним, сказала стих Максима, обращенный к Ксифару:

Et méritez les pleurs que vous m'allez coûter¹¹.

¹¹ И будете достойны моих слез, которые вы вызвали (*фр.*).

...Двор переселился в Петергоф; великокняжеская чета последовала за императрицей. Несколько раз устраивались охоты. Великая княгиня, ссылаясь на нездоровье, большею частью в них не участвовала. Салтыков под благовидными предложениями заручился позволением великого князя не сопровождать его. Он проводил все свое время с великой княгиней и сумел воспользоваться благоприятным для него расположением, которое ему дали почувствовать. Салтыков, первое время находивший для себя большое счастье в том, что обладает предметом своих мыслей, вскоре понял, что вернее было разделить его с великим князем, недуг которого был, как он знал, излечим. Однако опасно было действовать в подобном деле без согласия императрицы. Благодаря случаю события повернулись самым лучшим образом. Однажды весь двор присутствовал на большом балу; императрица, проходя мимо беременной Нарышкиной, свояченицы Салтыкова, разговаривавшей с Салтыковым, сказала ей, что ей следовало бы передать немного своей добродетели великой княгине. Нарышкина ответила ей, что это, может быть, и не так трудно сделать и что, если государыня разрешит ей и Салтыкову позаботиться об этом, она осмелится утверждать, что это им удастся. Императрица попросила разъяснений. Нарышкина объяснила ей недостаток великого князя и сказала, что его можно устранить. Она добавила, что Салтыков пользуется его доверием и что ему удастся на это его склонить. Императрица не только согласилась на это, но дала понять, что этим он оказал бы большую услугу. Салтыков тотчас же стал придумывать способ убедить великого князя сделать все, что было нужно, чтобы иметь наследников.

Он разъяснил ему политические причины, которые должны бы были его к тому побудить. Он также описал ему и совсем новое ощущение наслаждения и добился того, что тот стал колебаться. В тот же день Салтыков устроил ужин, пригласив на него всех лиц, которых великий князь охотно видал, и в веселую минуту все обступили великого князя и просили его согласиться на их просьбы. Тут же вошел Бургав с хирургом – и в одну минуту операция была сделана и отлично удалась. Салтыков получил по этому случаю от императрицы великолепный бриллиант. Это событие, которое, как думал Салтыков, „обеспечивало и его счастье, и его фавор“, навлекло на него бурю, чуть не погубившую его... Стали много говорить о его связи с великой княгиней. Этим воспользовались, чтобы повредить ему в глазах императрицы... Ей внушили, что операция была лишь уловкой, имевшей целью придать другую окраску одной случайности, которую хотели приписать великому князю. Эти злобные толки произвели большое впечатление на императрицу. Она как будто вспомнила, что Салтыков не заметил влечения, которое она к нему питала. Его враги сделали больше: они обратились к великому князю и возбудили и в нем такие же подозрения».

Затем в своем сообщении Шампо рассказывает о разных очень сложных интригах. Императрица и великий князь несколько раз меняли мнение и в конце концов оправдали счастливого любовника. Одно время в дело втягивается Екатерина. «В первые минуты своего недовольствия на Салтыкова, вместо того чтобы поберечь великую княгиню, императрица сказала в присутствии нескольких лиц, что она знала, что происходило до тех пор, и что, когда великий князь выздоровеет и будет в состоянии иметь общение с женой, она желает получить доказательства того положения, в каком великая княгиня должна была остаться до этого времени».

Предупрежденная бдительными друзьями, Екатерина протестовала с негодованием и уредила Елизавету. Впоследствии великий князь довершил оправдание своей супруги, представив неопровержимые доказательства ее правоты. «Между тем наступило время, когда великий князь мог вступить в общение с великой княгиней. Уязвленный словами императрицы, он решил удовлетворить ее любознательность насчет подробностей, которые она желала знать, и на утро той ночи, когда брак был фактически осуществлен, он послал императрице в запечатанной собственноручно шкатулке то доказательство добродетели великой

княгини, которое она желала иметь... Связь великой княгини с Салтыковым не нарушилась этим событием и продолжалась еще восемь лет, отличаясь прежней пылкостью...

Записка Шампо была послана в ноябре 1758 года из Версаля в Петербург в качестве дополнительной инструкции маркизу Лопиталю, оценившему ее следующим образом:

«Я внимательно и с удовольствием прочел первый том трагикомической истории или романа замужества и приключений великой княгини. Содержание его включает некоторую долю истины, приукрашенной слогом; но при ближайшем рассмотрении герой и героиня уменьшают интерес, который их имена придают этим приключениям. Салтыков – человек пустой и русский *petit maotre*¹², то есть человек невежественный и недостойный. Великая княгиня его терпеть не может, и все, что говорят о ее переписке с Салтыковым, – лишь хвастовство и ложь».

Правда, в то время Екатерина уже познакомилась с Понятовским и, как утверждает опять-таки Лопиталь, «познала разницу между ними».

Повествование французского дипломата в некоторых подробностях противоречит тому, что сама Екатерина сообщает в своих «Записках...», а все, что нам известно об этом щекотливом вопросе из других источников, способствует лишь его затемнению. Физически и нравственно, в особенности нравственно, Павел походил на своего законного отца. Однако почти никто из современников не допускал мысли, что именно Петр был его отцом. В то время ходили даже другие предположения. «Этот ребенок, – писал однажды Лопиталь, – сын самой императрицы (Елизаветы), которого она подменила на сына великой княгини». В следующей депеше, однако, маркиз, объявляя себя лучше осведомленным, подвергал сомнению эту первую версию; но сама Елизавета много способствовала ее возникновению, и ее поведение во время родов великой княгини немало повлияло на распространение этих слухов. Едва только ребенок увидел свет, как императрица велела его наскоро выкупать и наречь именем Павел, затем приказала унести его и сама ушла следом. Екатерина увидела сына лишь через шесть недель. Ее оставили вдвоем с горничной, не позаботившись даже о самом необходимом уходе за ней. Казалось, она вдруг стала совершенно безразличным для всех существом и ее уже ни во что не ставили. Родильная постель находилась между дверью и двумя огромными окнами, из которых нестерпимо дуло. Екатерина сильно потела и хотела перейти на свою постель. Владиславова не посмела исполнить ее желание. Екатерина попросила пить. Ответ был тот же. Наконец через три часа появилась графиня Шувалова и оказала ей некоторую помощь. Ни в тот день, ни на следующий она никого не видела. Великий князь пировал со своими друзьями в соседней комнате. После крестин ребенка его матери принесли на золотом подносе указ императрицы, подарившей ей 100 тысяч рублей и несколько драгоценностей. Ей платили за ее труды. Драгоценности оказались не особенно богаты: Екатерина уверяла, что ей стыдно было бы подарить их своей камер-фрау. Деньгам она обрадовалась, так как у нее много долгов. Но радость ее оказалась непродолжительна. Несколько дней спустя кабинет-секретарь барон Черкасов умолял ее дать ему эти сто тысяч. Императрица приказала отпустить еще такую же сумму, а в кассе «ни копейки». Екатерина узнала, что это проделка ее мужа. Услышав, что она получила сто тысяч рублей, Петр пришел в ярость. Ему ничего не дали, а между тем он претендовал по меньшей мере на равные права в щедрости императрицы. Чтобы успокоить его, Елизавета, которой ничего не стоило подписать свое имя, приказала выдать и ему такую же сумму, не заботясь о затруднительном положении казначея. Спустя шесть недель «очищение» великой княгини отпраздновали с большой пышностью, и в этот день ей явили милость – показали ребенка. Она нашла его красивым. Во время обряда ей его оставили, а затем опять отняли. Одновременно она узнала, что Сергея Салтыкова отправили в Швецию с известием о рождении великого князя. В те времена для

¹² Щеголь (фр.).

вельможи, занимавшего при русском дворе положение Сергея Салтыкова, подобное поручение не знак милости. Большой частью это высшая полицейская мера, если не опала или наказание. С этой точки зрения отъезд молодого камергера также знаменателен.

Не будем останавливаться на этом дольше. Историческая тяжба, касающаяся вопроса о спорных родительских правах, на наш взгляд, второстепенна. Что касается Екатерины, единственно действительно важный пункт для истории умственного и нравственного ее развития, то есть для этого нашего труда, – бесспорное присутствие Сергея Салтыкова у колыбели ее первого ребенка – вместе с Львом Нарышкиным, Захаром Чернышевым, а может быть, и другими на заднем плане. Перед нами встает ее, так сказать, неполное материнство, подвергавшееся возмутительным подозрениям со стороны общества, жестоко урезанное злоупотреблением власти, похожим на похищение. Что-то подозрительное скрывалось под мантией этикета, попирающего самые естественные права и обязанности; наконец, нас поражает полное и более чем когда-либо болезненное пренебрежение и одиночество, в которое впадает молодая мать и супруга между пустой колыбелью и давно опустевшим супружеским ложем.

VI

Будь Екатерина обыкновенной женщиной, подобное существование в результате прибавило бы лишь одну или две лишние главы к скандальной хронике восемнадцатого века. Сергей Салтыков имел бы преемника, а великий князь – новые поводы сомневаться в добродетели своей жены. Но Екатерина не была обыкновенной женщиной, что неоднократно доказала впоследствии. Она не принадлежала и к числу мучениц и жен, вопреки всему верных своему семейному очагу. После Салтыкова были другие; она окончательно и бесповоротно пошла по пути, приведшему к самым колоссальным и циничным проявлениям разврата, записанным современной историей; но она погрузилась в него не полностью. Отдавая свое тело, честь и добродетель постоянно возобновляемым развлечениям и наслаждениям, разжигавшим в ней всё возрастающую страстность, она вместе с тем не забыла малодушно ни своего положения, ни своего пробудившегося уже честолюбия, ни своего превосходства, которому суждено засиять в близком будущем. Она ни от чего не отреклась. Наоборот, занялась культурой своего «я», приспособлением своего ума и характера к смутно предугадываемой судьбе, первые шаги которой нами уже отмечены.

В это время она более деятельно принимается за изучение русской литературы и русского языка. Читает все русские книги, которые может достать. Они, без сомнения, дают ей представление об очень низком умственном уровне. Она не может даже припомнить ни одного заглавия прочитанных книг, кроме русского перевода двух томов «Анналов» Барония. Но она выносит из этого убеждение, никогда не покидавшее ее, наложившее на ее будущее царствование совершенно определенный отпечаток и сделавшее его продолжением царствования Петра Великого, а именно убеждение в том, что ее новому отечеству необходимо учиться у Запада, с тем чтобы наверстать отделяющее его от Европы расстояние и стать на уровне недавно приобретенного положения.

Вместе с тем она принимается за серьезное чтение. Несмотря на советы Гюлленборга, все еще не прочла «*Les Considérations sur la grandeur et la décadence des Romains*»¹³. Знакомится с Монтескьё, читая «*Esprit des lois*», затем берется за «*Анналы*» Тацита и «*Всеобщую историю*», как она говорит, а вернее, «*Essai sur les mœurs et l'esprit des nations*»¹⁴ Вольтера.

Тацит пленяет ее реальностью картин, которые он рисует, и поразительной аналогией с окружающими ее людьми. При сем различии между эпохами и обстоятельствами она

¹³ «Замечания на величие и падение римлян».

¹⁴ «Рассуждение о нравах и духе народов».

познает неподвижность, неизменяемость типов, из которых состоит человечество, и законов, которым оно повинуетя. Видит повторение тех же черт характера, тех же инстинктов, страстей, тех же комбинаций и тех же формул правления, производящих те же результаты. Научается распознавать сплетение пружин этих элементов, столь различно соединяющихся и все же столь одинаковых, вникать в их интимную механику и распознавать им цену. Ее холодный, сухой ум – философский, по определению шведского дипломата, – отлично применяется к отвлеченным, безличным суждениям о событиях и их причинах, присущим латинскому историку, к его манере парить, подобно орлу, над человечеством, которое он как бы наблюдает в качестве постороннего зрителя.

Однако Монтескьё больше привлекает и удовлетворяет ее. Он действительно не ограничивается тем, что представляет факты, – он их теоретически обосновывает и дает готовые формулы. Екатерина жадно завладевает ими и делает их своим молитвенником – «*bréviaire*»¹⁵, по ее собственному живописному выражению. Объявляет впоследствии, что «*Esprit des lois*»¹⁶ должна стать «настойной книгой всякого государя, наделенного здравым смыслом». Впрочем, это вовсе не значит, что она ее понимает. Монтескьё в течение доброй половины восемнадцатого столетия был писателем, которого более всего читали и менее всего понимали. У него все черпали мысли и теории, между прочими и Екатерина. Их даже применяли в отдельности, но мало кто был способен объять доктрину во всей полноте и усвоить ее дух. Никто даже и не думал применять ее целиком, *en bloc*, как говорят теперь. Это повело бы, – может быть, и сам автор «*Esprit des lois*» не отдавал себе в этом отчета – к полному перевороту в существующем политическом и социальном режиме и к гораздо более радикальной революции, чем та, которая ознаменовала собой конец века. Его доктрина была направлена против самой основы разбираемых им пороков в организации человеческих обществ, отмеченных им злоупотреблений и предугаданных им катастроф. А устранить основу равносильно не только уничтожению того или другого установления или того или другого способа управления, но и устранению самой идеи, главной идеи – управлявшей миром и призванной, может быть, управлять им вечно; это означало заменить идеальным и, может быть, неосуществимым равновесием естественных сил жестокую и непрерывную борьбу интересов и страстей, составлявшую во все времена человеческую жизнь и являющуюся, может быть, и самой сущностью жизни!

Екатерина не поняла всего этого. Но она приписала себе «республиканскую душу», подобную душе Монтескьё, не заботясь о том, чему отвечает подобное состояние по понятиям знаменитого писателя, не отдавая себе также отчета в том, какое значение это имело для нее самой. Сама мысль ей нравилась, как многим ее современникам; она приняла ее, как перо или цветок, бывшие в моде. К этому присоединилось и некоторое предупреждение против злоупотреблений деспотизма, сознание необходимости заменить в поведении людей личные капризы велениями общего разума, какой-то смутный либерализм. Впоследствии Екатерине суждено было удивить весь мир революционной смелостью идей, высказанных ею перед всей Европой и перед своей страной в официальном документе. Она списала их с Монтескьё и с Беккариа, не всегда понимая смысл. Когда он открылся ей при переходе от теории к практике, она, конечно, отступила. Но все же она продолжала управлять разумно и даже до известной степени либерально. Монтескьё сделал свое дело.

Она сразу поняла благодаря рассудительности и непогрешимому здравому смыслу, которым ее наградила природа, что существует явное и, по-видимому, несогласуемое противоречие между ненавистью к деспотизму и положением деспота. Это открытие, вероятно, для нее стеснительно ввиду уже присущих ей властных инстинктов. Оно поссорило ее впо-

¹⁵ «Требником» (фр.).

¹⁶ «О духе законов».

следствии с философией – или по крайней мере с некоторыми философами. Между тем нашелся человек, который доказал ей, что пугающее ее различие несущественно; это опять-таки философ – Вольтер. Без сомнения, введение каприза в управление человеческими судьбами является ошибкой и может стать преступлением; безусловно, мир должен управляться разумом, – но кто-то же должен олицетворять его на земле. С установлением этого положения формула вытекает сама собой: деспотический образ правления может быть самым лучшим правлением, допускаемым на земле; это самое лучшее правление при условии, что оно разумно. Что же для этого надо? Чтобы оно было просвещенное. Вся политическая доктрина автора «*Dictionnaire philosophique*»¹⁷ заключается в этом; и этим же объясняется его искренний – что бы там ни говорили – восторг перед северной Семирамидой. Екатерина осуществила формулу: она просветилась в лучах философии Вольтера, она управляет разумно, она сам разум, призванный управлять сорока миллионами людей; она – божество, прототип тех богов, которых странное умственное уродство и разнузданное воображение посадило впоследствии на алтари, оскверненные революционной оргией.

Вот почему и Вольтер стал любимым писателем Екатерины. Она нашла в нем учителя, верховного руководителя своей совести и мысли. Он учит, не запугивая ее, согласуя мысли, которые внушает, с ее страстями. Вместе с тем у него есть для всех зол человеческих, указанных Монтескьё и оплакиваемых им самим, простые лекарства, доступные, легко применимые, – так сказать, бабьи средства. Монтескьё – великий ученый, опирающийся на общие тезисы. Если следовать ему, надо начать все сначала и все изменить. Вольтер – гениальный эмпирик. Он перебирает поочередно все раны на человеческом теле и берется их излечить. Тут смазать бальзамом, там прижечь – и больной совершенно здоров. И какая ясность языка, мысли, сколько ума! Екатерина восхищена, как и большинство ее современников; она ослеплена, очарована этим великим волшебником в искусстве писать и, подобно всем, очарована как его достоинствами, так и недостатками; пожалуй, недостатками даже больше, то есть некоторой поверхностностью в понимании вещей, иногда легковесностью умозаключений, несправедливостью в суждениях и, кроме того, неуважительностью, антирелигиозностью и непристойностью нападок на установившиеся предрассудки, в которых отражались не только философские тенденции данного времени и жажда освобождения, встряхнувшая современную ему мысль. Если Вольтер и не помог Екатерине поменять лютеранскую веру на православную, он, вероятно, впоследствии все же облегчил ей воспоминания об этом двусмысленном шаге и избавил если не от раскаяния, то по крайней мере от некоторых уколов совести. Его свободомыслие, чисто интеллектуальное, вполне допускало выводы, склонные оправдывать всевозможные отклонения от принятых норм, не исключая и свободы современных нравов. Популярность Вольтера объясняется и этой стороной его мировоззрения, пленившей также и Екатерину.

Без сомнения, ее привлекали и другие, более благородные черты его бесспорного гения: гуманные мысли, сделавшие его апостолом терпимости в делах веры; великодушные порывы, заставившие всю Европу рукоплескать ему как защитнику Каласа и Сирвена. Екатерина взяла у него некоторые лучшие свои идеи.

Но как ему, так и Монтескьё и Тациту она обязана главным образом некоторой интеллектуальной гимнастикой, гибкостью в обращении с великими социальными и политическими задачами – словом, общей подготовкой к будущей ее деятельности.

Ее ум быстро зреет от соприкосновения с этими великими умами; у нее появляются новые привычки и вкусы, которые в свою очередь влекут за собой другие ценные приобретения. Она начинает любить общество некоторых серьезных людей, пугавших ее в юности. В особенности ищет общения со старыми женщинами, которые не в милости при дворе,

¹⁷ «Философский словарь».

подобном двору Елизаветы. Она вызывает их на долгие разговоры. Таким образом, у нее появляется привычка говорить по-русски; она пополняет сведения, полученные от Владиславовой, об интимных сторонах жизни общества, которое вскоре познает в совершенстве. Наконец, приобретает драгоценные симпатии, полезную дружбу, которыми впоследствии сумеет воспользоваться.

Таким образом, завершилось второе воспитание Екатерины.

Книга вторая По пути к завоеванию власти

Глава первая Молодой двор

I. Вмешательство Екатерины в политику. – Политика и любовь. – Вильямс и Понятовский. – Теория графа Горна о роли болонок в дипломатии. – Материальные затруднения великой княгини. – Английский банкир Вольф.

II. Критическое положение Бестужева. – Он старается сблизиться с Екатериной. – Проект установления престолонаследия после Елизаветы. – Смелые предприятия Вильямса, в которых замешана великая княгиня. – Семилетняя война. – Отступление фельд-маршала Апраксина. – Обвинения, предъявленные Екатерине по этому поводу.

III. Политическая роль Понятовского. – Он успешно ведет дела своих дядей и портит дела своего короля. – Сближение между ним и представителем Франции. – Различия во взглядах между представителями французской политики в Петербурге и Варшаве. – Маркиз Лопиталь и граф Брольи. – Двойственность французской политики. – Официальная и тайная дипломатия. – Общая непоследовательность. – Намерение защитить поляков от русских, вступив в союз с Россией. – Официальная и тайная дипломатия работают над удалением Понятовского. – Последствия поражения при Росбахе. – Понятовский остается в Петербурге. – Его приключение в Ораниенбауме. – Его отъезд. – Раздражение Екатерины против Франции. – Что вытекает из связи будущей императрицы с будущим королем.

IV. Внутренняя жизнь молодого двора. – Екатерина эмансипируется. – Madame la Ressource. – Характеристика великой княгини, сделанная д'Эоном. – Общее растление нравов. – Театральное представление при дворе Елизаветы. – Ночные отлучки Екатерины. – Что скрывают ширмы в спальне. – «Судно». – Роль фрейлин. – Поведение Петра. – Екатерина решает идти по «независимому пути».

V. Дни кризиса. – Арест Бестужева. – Великая княгиня скомпрометирована. – Екатерина выдерживает бурю. – Свидание супругов в присутствии императрицы. – Победа Екатерины. – Предвестие новой и окончательной борьбы.

I

После рождения наследника престола Екатерине пришлось испытать не только описанное нами странное обращение с ней; в силу самого факта рождения ребенка она оказалась отставленной на второй план и, так сказать, спустилась на низшую ступень. Она оставалась особой высокого ранга, но уже не пользовалась большим влиянием. Она перестала быть условием *sine qua non* династической программы, необходимым существом, на которое в ожидании великого события устремлены все взоры, начиная с императрицы и кончая последним подданным империи. Она исполнила свою миссию.

Однако именно после этого решающего события она мало-помалу начинает входить в роль, которой ни одна великая княгиня не играла ни до, ни после нее в России. Ни история других стран, ни история самой России не могут дать нам понятия о том, что представлял собой так называемый молодой двор, двор Петра и Екатерины, в шестилетний период с 1755-го до 5 января 1762 года, дня смерти Елизаветы.

Иногда дипломаты, приезжавшие в Петербург, не знали, в какую дверь стучаться; некоторые из них не сомневаясь отважно направлялись к маленькой двери. К последним принадлежал английский посланник Генбюри Вильямс.

Подробное изложение фактов, наполнивших собой эту эпоху, заставило бы нас выйти из рамок предлагаемого труда. Мы укажем лишь самые выдающиеся из них: вмешательство Екатерины в политику, ее связь с Понятовским и, наконец, жестокий кризис, вызванный падением всемогущего Бестужева, когда будущая императрица впервые появилась на арене своих последующих триумфов и одержала первую победу.

Екатерину вовлекла в политику любовь. Ей всегда было суждено соединять эти столь различные занятия; благодаря ее искусству или ее счастьем она почти всегда извлекала пользу из этого смешения, оказывавшегося роковым для других. Первая ее вылазка из узкой сферы, в которой Елизавета намеревалась всегда ее держать, – вмешательство в дела Польши. Однако она вздумала интересоваться этими делами лишь тогда, когда открыла в себе интерес к делам красивого поляка. Впрочем, для того чтобы сделать это открытие, ей понадобилась посторонняя помощь. Сводни как мужского, так и женского пола с ранних пор играли большую роль в ее жизни.

В 1755 году Англия, желавшая возобновить договор, связывавший с 1742 года Россию с системой ее союзов, и обеспечить себе помощь русской армии на случай разрыва с Францией, становившегося неминуемым в ближайшем будущем, отправила в Петербург нового посла. Диккенс, занимавший до тех пор этот пост, сам сознавался в своей неспособности выполнить эту задачу. Двор Елизаветы был слишком беспокойным для человека его лет. Решения в России принимались в промежутках между балом, комедией и маскарадом. Его заявления английское правительство признало правильными и принялось искать дипломата, отвечающего всем требованиям такой жизни. Им оказался сэр Чарльз Генбюри Вильямс. Выбор удачный: друг и товарищ по удовольствиям Роберта Волпола, новый посол прошел хорошую школу. Он действительно не пропустил ни одного бала, ни одного маскарада и не замедлил убедиться, что подобное усердие не способствует делу. Его искательство перед Елизаветой, по-видимому очень ей приятное, политически оказалось совершенно бесплодным. Когда он пытался стать на твердую почву переговоров, государыня уклонялась. Он тщетно искал императрицу, а находил очаровательную танцовщицу менуэта, а иногда и вакханку. Через несколько месяцев он пришел к убеждению, что с Елизаветой нельзя говорить серьезно, и стал осматриваться. Разочаровавшись в настоящем, думал о том, что предстоит. А это молодой двор.

Здесь он встретил будущего императора и быстро понял, что опять лишь потеряет время. Его взор остановился наконец на Екатерине. Может быть, на него повлияли и примеры других разочарований и надежд, одновременно шедших по тому же пути и направлявшихся к той же точке опоры. Разве великий Бестужев не начинал сам отказываться от своих прежних убеждений? Вильямс подметил знаменательные шаги в сторону великой княгини, подземные ходы, ведущие к ней. Он быстро решился. Осведомленный придворными слухами о любовных приключениях, в которых фигурировали красавец Салтыков и красавец Чернышев, сам довольно предприимчивый, Вильямс попытался пойти по их романтическим следам.

Екатерина приняла его очень любезно, говорила с ним обо всем, даже о серьезных предметах, которые Елизавета отказывалась обсуждать. Но она смотрела не на него. Один из этих взглядов, перехваченный Вильямсом, подсказал ему дальнейший образ действий. Вильямс обладал практическим умом: он уступил место молодому человеку, входившему в состав его свиты. То был Понятовский.

Всем известно о темном происхождении этого романтического героя, которого роковая случайность – одна из тех, что решили в ближайшем будущем судьбу Польши, – приобрел

щила с этой минуты к истории его страны. Вильямс до приезда в Россию занимал в течение нескольких лет пост резидента при саксонском дворе, где и встретил этого сына парвеню и племянника Чарторыйских, двух самых могущественных вельмож Польши. Сошелся с ним и, предложив заняться его политическим воспитанием, взял его с собой в Петербург. Чарторыйские, со своей стороны, поспешили воспользоваться этим случаем, чтобы поручить дипломатическому ученику особую миссию – защиту при северном дворе интересов своих и отечества, понимаемых ими по-своему. Они как раз вводили в Польшу новую политику – компромиссов и «*entente cordiale*»¹⁸ с наследственным врагом, то есть с Россией, и измены традиционным союзникам республики, в особенности Франции. Поворачивались спиной к Западу и обращались к северу в надежде найти убежище для гонимого бурей и изрытого пробоинами несчастного корабля, которым намеревались управлять. Эта политика прекрасно совпадала с программой, выполнение которой было возложено на Вильямса.

Будущему королю польскому всего двадцать шесть лет. У него приятное лицо, но он не мог соперничать в отношении красоты с Сергеем Салтыковым. Зато он *gentil-homme*¹⁹ в полном смысле слова, как его понимали в то время: образование разностороннее, привычки утонченные, воспитание космополитическое, с тонким налетом философии; совершенный образчик этого типа людей и первый, кто остановил на себе внимание Екатерины. Он олицетворял собой ту умственную культуру и светский лоск, к которым она одно время пристрастилась благодаря чтению Вольтера и мадам де Севинье. Он путешествовал и принадлежал в Париже к высшему обществу, блеском и очарованием своим импонировавшему всей Европе, как и королевский престиж, на который еще никто не посягал в то время. Он как бы принес с собой непосредственную струю этой атмосферы и обладал всеми ее достоинствами и недостатками. Умел вести блестящую беседу о самых отвлеченных материях и искусно подойти к любым щекотливым темам. Мастерски писал записочки и умел ловко вернуть в банальную болтовню мадригал. Обладал искусством вовремя умилиться; был чувствителен. Выставлял напоказ романтическое направление мыслей, при случае придавая ему героическую и смелую окраску и скрывая под яркой внешностью сухую, холодную натуру, невозмутимый эгоизм, даже неисчерпаемый запас цинизма. Все в нем пленяло Екатерину, вплоть до некоторого легкомыслия, которое, как ни странно, всегда нравилось ей, может быть вследствие таинственного сродства с собственной твердой, уравновешенной натурой.

Если верить личным признаниям, Понятовский обладал еще одним достоинством, весьма неожиданным и почти невероятным в молодом человеке, побывавшем в Париже.

«Сперва строгое воспитание, – пишет он в отрывке из своих «Записок...», дошедшем до нас, – отдалило меня от всяких беспутных сношений; затем честолубивое желание проникнуть и удержаться в так называемом высшем обществе, в особенности в Париже, охраняло меня в моих путешествиях, и целая сеть странных мелких обстоятельств в моих попытках вступить в любовные связи в других странах, на моей родине и даже в России как будто нарочно сохранила меня цельным для той, которая с той поры властвовала над моей судьбой».

Опять-таки Бестужев поощрил молодого поляка. Понятовский колебался. До него дошли мрачные слухи о судьбе молодых людей, пользовавшихся расположением русских императриц и великих княгинь, постигавшей их после того, как они переставали нравиться. Бестужев прибег к содействию Льва Нарышкина, великодушно указавшего ему путь, вероятно хорошо ему известный. Нарышкин всегда был услужлив. Но можно предположить, что Екатерина сама сломала последнее сопротивление Понятовского. Для этого, помимо всяких других ее чар, достаточно ее красоты. Вот как о ней отзывался впоследствии счастли-

¹⁸ «Сердечного согласия» (фр.).

¹⁹ Дворянин (фр.).

вый любовник: «Ей двадцать пять лет; она лишь недавно оправилась после первых родов и находилась в той фазе красоты, которая является наивысшей точкой ее для женщин, вообще наделенных ею. Брюнетка, она ослепительной белизны; брови у нее черные и очень длинные, нос греческий, рот как бы зовущий поцелуй, удивительной красоты руки и ноги, тонкая талия, рост, скорее, высокий, походка чрезвычайно легкая и в то же время благородная, приятный тембр голоса и смех такой же веселый, как и характер, позволявший ей с одинаковой легкостью переходить от самых шаловливых игр к таблице цифр, не пугавших ее ни своим содержанием, ни требуемыми усилиями».

Глядя на нее, он «забыл, – говорит Понятовский, – что существует Сибирь». Вскоре лица, окружавшие великую княгиню, стали свидетелями одной сцены, которая, должно быть, подтвердила ходившие уже слухи. В числе лиц, составлявших интимный кружок великой княгини, некто граф Горн, швед по происхождению, живший некоторое время в Петербурге и сошедшийся с Понятовским. Однажды, когда он входил в комнату великой княгини, маленькая болонка, принадлежавшая ей, принялась ожесточенно лаять как на него, так и на всех входивших. Вдруг появился Понятовский, и маленький предатель бросился к нему, ласкаясь со всеми признаками живейшей радости.

«Друг мой, – сказал швед, отводя в сторону Понятовского, – нет ничего ужаснее болонки; когда я влюблялся в какую-нибудь женщину, я первым делом дарил ей болонку и благодаря ей узнавал о существовании более счастливого соперника».

Сергей Салтыков, вернувшись из Швеции, не замедлил узнать, что у него появился преемник, но он не был ревнив; впоследствии Екатерина не могла похвалиться постоянством, но надо признаться, что ее первые любовники подавали ей в этом отношении дурной пример. До появления Понятовского Салтыков имел даже дерзость назначать любовнице свидания, на которые сам не приходил. Однажды Екатерина тщетно ждала его до трех часов ночи.

Таким образом, Вильямс заручился могучим средством влиять на великую княгиню. Он, однако, не пренебрег и другими мерами. Вскоре узнал о всё возрастающих материальных затруднениях Екатерины. В этом отношении увещевания Елизаветы оказались бесплодными. Несмотря на свою любовь к порядку и даже некоторые буржуазные экономные привычки, Екатерина всю жизнь была расточительна. Ее побуждали к этому и страсть к роскоши, и взгляды на пользу некоторых расходов, укоренившиеся в ее уме вследствие корыстных обычаев ее отечества и развившиеся под влиянием опыта, приобретенного ею в новой среде, в которой ей суждено было жить. Вера во всемогущество «чаевых» не покидала ее всю жизнь. Вильямс предложил свои услуги, и она их приняла. Итог займов, сделанных Екатериной у Вильямса, нам неизвестен. Он, вероятно, значителен: Вильямс получил *carte blanche*²⁰ от своего правительства. Две расписки, подписанные великой княгиней, на общую сумму пятьдесят тысяч рублей, помечены 21 июля и 11 ноября 1756 года. Заем 21 июля, очевидно, не первый, так как, испрашивая его, Екатерина писала банкиру Вильямса: «Мне тяжело опять обращаться к вам».

II

Бестужев поочередно восторжествовал над всеми своими врагами; но эти победы, потребовавшие напряжения всех сил, истощили его. Он старился и чувствовал себя все менее способным противостоять напору честолюбивых замыслов соперников, их ненасытной злобе и беспрестанно прорывавшейся жажде мести. Елизавета также не прощала ему, что он как бы навязал ей себя. Она начинала обходиться с ним холодно. В то же время уже подвергалась апоплексическим ударам, и это давало канцлеру пищу для размышлений.

²⁰ Свободу действий (*фр.*).

Великий князь, в ближайшем будущем император, производил на него такое же печальное впечатление, как и на Вильямса. Бестужев знал, что ему легко добиться фавора, но эти усилия ни к чему не приведут – или, скорее, приведут туда, куда Бестужев ни за что не желал идти. Ограниченный ум Петра вмещал лишь одну политическую идею – преклонение перед Фридрихом. Он пруссак с головы до ног. А Бестужев намеревался умереть верным «австрийцем». Оставалась, следовательно, великая княгиня. С 1754 года в голове канцлера как будто зреет мысль о вступлении с ней в непосредственное соглашение.

Эта эволюция совершилась быстро.

Вскоре Екатерина заметила значительную и весьма благоприятную для нее перемену в штате, приставленном для наблюдения за ней и прислуживания ее особе. Ее первая камерфрау, Владиславова, нечто вроде цербера женского пола, стала вдруг после разговора с канцлером «кротким ягненком». Вскоре после этого Бестужев помирился с принцессой Цербстской и внезапно предложил себя в посредники для переписки, которую она продолжала вести с дочерью, – по его же внушению до того строжайше воспрещенной. Наконец, он решился на героический шаг: через Понятовского передал великой княгине документ существенной важности. На этот раз Бестужев сжигал корабли и рисковал головой; но он раскрывал перед печальной супругой Петра новый горизонт, способный ее ослепить и служить искушением для ее нарождающегося честолюбия; он, так сказать, указывал ей путь, по которому ей суждено впоследствии пойти на завоевание власти: это проект, устанавливавший престолонаследие. Согласно ему, тотчас после смерти Елизаветы надлежало провозгласить императором Петра, но совместно с Екатериной, которой следовало разделить с ним все права и всю власть. Бестужев, разумеется, не забыл и себя. Он, собственно говоря, выговаривал себе всю власть, оставив Екатерине и ее супругу лишь то, что он в качестве подданного не мог у них отнять. Екатерина при этом обнаружила очень большой такт. Она не отвергла проект, но сделала некоторые оговорки. Так, велела передать канцлеру, что не верит в возможность его осуществления. Может быть, старая лиса Бестужев и сам этому не верил²¹.

Он взял назад проект, переделал, переработал, внес некоторые поправки и изменения, вновь представил на обсуждение главному заинтересованному лицу, затем снова переделал и, казалось, был поглощен этой работой. С обеих сторон игра велась тонкая; но лед сломан – и они не замедлили прийти к соглашению относительно других пунктов.

Итак, Екатерину приглашали с двух сторон выйти из замкнутого состояния, в котором она, против воли впрочем, до сих пор пребывала. Она этому вовсе не противилась. Все природные вкусы и инстинкты толкали ее на этот путь. Вначале удерживала осторожность, вполне оправданная, как мы увидим ниже, – первые шаги нерешительны; но затем она становилась все смелее и наконец отважилась принять участие в предприятиях, едва не приведших ее на край гибели.

Следует, однако, сказать, что ни Бестужев, ни Вильямс, согласившиеся использовать нарождающееся влияние великой княгини (плод их совместных усилий) и оспаривавшие его друг у друга впоследствии, когда события рассорили их между собой, не проявили ни скромности, ни сдержанности. Бестужев играл свою последнюю партию и старался любым путем увеличить ставку. Что касается Вильямса, он вдруг обнаружил отчаянную смелость. Обладая хорошим пониманием вещей и некоторой ловкостью, этот англичанин проявил вместе с

²¹ Впрочем, из переписки между Брилем и Функе, саксонским министром и президентом, относящейся к 1754–1755 гг. (*Hermann E. Geschichte Russlands*. Gota, 1846. S. 298–299), явствует, что с 1754 г. Бестужев подумывал о том, чтобы устроить для Екатерины соуправление герцогством Голштинским, и что он смотрел на это как на шаг к разделению ею и императорской власти... Согласно М. Воронцову (см. его «Автобиографию» в Архиве кн. Воронцова. Т. 5. С. 32), канцлер пытался устроить, чтобы Елизавета, сама того не заметив, приняла проект, регулирующий вопрос о престолонаследии в пользу Екатерины. Он предложил его к подписи в числе других, незначительных бумаг. Но Елизавета будто бы вовремя заметила эту уловку.

тем и необычайную силу воображения, и порядочное легкомыслие. Он устраивал события на свой манер, не совпадавший иногда с намерениями судьбы или Провидения. Когда ход дел доказывал его неправоту, отказывался считать себя побежденным. Это английский гасконец. Когда в августе 1755 года он добился возобновления договора, связавшего Россию с Англией, то запел победную песнь. Обошел Бестужева, победил Елизавету и с помощью Понятовского соблазнил Екатерину. В воображении уже видел сто тысяч русских солдат, отправляющихся в поход и наводящих страх на врагов его величества короля. Эти враги, конечно, пруссаки и Франция.

Вдруг он узнает о заключении Вестминстерского договора (5 января 1756 г.), включавшего Пруссию в число союзников Англии. Фридрих внезапно переменяет фронт. Вильямс ничуть не смутился. Сто тысяч русских будут воевать с одним врагом, а не с двумя, вот и все. Они победят на берегах Рейна, вместо того чтобы торжествовать на берегах Шпрее. Придется только провести их немного подальше. В ожидании этого отважный дипломат отдавал себя лично в распоряжение Фридриха II. С 1750 года у последнего не было представителя в Петербурге. Вильямс предложил свои услуги. Через посредство своего коллеги в Берлине он установил очень деятельную переписку, сообщавшую его прусскому величеству все, что происходило в России.

Однако на известие об англо-прусском договоре Елизавета вдруг отвечает тем, что сперва вовсе отказывается ратифицировать свой собственный договор, а затем добавляет к ратификации его, состоявшейся наконец, 26 февраля 1756 года, условие, в силу которого договор действителен лишь в случае нападения Пруссии на Англию.

Вильямс и тут не потерял голову. Среди перекрестного огня споров, в обстановке общего переворота в европейской политике он остался верным своей программе – обеспечить содействие русских войск в борьбе против врагов Англии. Ненависть к Франции руководила им и ослепляла его. Даже Версальский договор (1 мая 1756 г.) не открыл ему глаза. Он не видел или не хотел видеть, что связанная отныне с Австрией Франция становилась для России не врагом, а естественной союзницей в силу новой группировки держав и интересов и товарищем по оружию в ближайших войнах. Именно тогда он задумал использовать свои связи с молодым двором и влияние на великую княгиню, которое, как полагал, он приобрел. Забегая вперед, даже уверил Фридриха, что Екатерина имела и возможность и желание остановить русскую армию, пусть она по повелению Елизаветы и выступит в поход, и, по меньшей мере, предписать ей бездействие. Фридрих в этом разубедился, когда уже было слишком поздно: Апраксин взял Мемель и нанес кровавое поражение прусской армии (под Гросс-Егерсдорфом, в августе 1757 г.). Но заблуждение это тянулось два года, в течение которых Вильямс, все время называя Екатерину «своим дорогим другом», по собственному усмотрению заставлял ее (он в этом уверен) менять симпатии – за или против прусского короля, – хвастался тем, что получал от нее советы, равносильные выдаче государственных тайн, – в общем, надевал на великую княгиню маску простого шпиона в пользу державы, с которой Россия находилась в войне!

Трудно безошибочно установить, какова в действительности роль Екатерины в эту эпоху, одну из самых тревожных в ее жизни. Несомненно, Вильямс обманывал Фридриха и заблуждался сам. Немецкие историки обвиняют английский кабинет в том, что он исправлял депеши самонадеянного посла, которые сообщались берлинскому правительству. Однажды Вильямс дошел в своих политических галлюцинациях до того, что целиком сочинил один поступок Екатерины, никогда ею не совершавшийся, и письмо, ею не написанное. Несомненно, однако, что благодаря предупредительности Вильямса и ухаживанию Понятовского великая княгиня не могла оставаться вполне безучастной к этому страшному кризису или быть равнодушной к английским интересам. Расписки, которые банкир Вольф продолжал получать по приказанию английского посла, говорят об этом. Но, с другой стороны, под-

ходы Бестужева тоже достойны внимания Екатерины; а канцлер, которого Фридриху не удалось подкупить, настаивал на лояльном исполнении союзного договора с Австрией. Все это, вероятно, побуждало политическую ученицу Монтескьё и Брантома совершать много опасных и, может быть, противоречивых поступков.

Между тем Понятовский делался весьма беспокойным, так что вскоре союзные кабинеты Вены и Версаля стали считать его самым лютым своим врагом в Петербурге, от которого надлежало избавиться во что бы то ни стало. Вследствие неофициального его положения это казалось делом легким. Они к нему приступили очень усердно, но натолкнулись на неожиданное препятствие: упустили из виду любовь. Самого Вильямса легче валить с поста, на котором он, казалось, больше служил Пруссии, чем Англии. В октябре 1757 года ему пришлось уехать. Понятовский остался. Но таким образом, Екатерина принуждена целиком отдаться политике, доступ к которой ей так строго воспрещен.

Добавим, что ее дебют не обещал ничего хорошего. С первых же шагов она явно злоупотребила недавно приобретенным влиянием, пользуясь им для личной, тайной выгоды, диаметрально противоположной в некоторых отношениях интересам ее нового отечества, как они понимались теми, кто стоял на их страже. Она вовлечена в политику любовью; любовь последовала за ней на эту арену и держала ее там. Этот эпизод ее жизни имеет решающее значение, и мы не можем на нем не остановиться.

III

Понятовский понравился Екатерине, потому что он говорил языком Вольтера и героев мадам де Скюдери. Он приобрел расположение великого князя, насмехаясь над польским королем и его министром и косвенно воздавая, таким образом, почтение Фридриху. Он не одержал других побед в Петербурге. Елизавета смотрит на него косо и готова уступить настояниям саксонского двора, требовавшего его удаления. Спрашивалось: на каком основании, не будучи ни англичанином, ни дипломатом, он входил в состав английского посольства? Почему, собственно, не имея никакого положения, вздумал играть какую-то роль? Аргументы эти не веские. В то время все европейские дворы кишели еще более загадочными личностями и дипломатическими агентами, обладавшими еще меньшими полномочиями. Петербургский двор не исключение из общего правила. К нему только что прибыл д'Эон. Понятовскому пришлось, однако, немедленно исчезнуть. Екатерина отпустила его, уверенная, что он вернется. Действительно, через три месяца он возвратился, снабженный официальным званием министра короля польского. Это дело рук Бестужева, желавшего во что бы то ни стало быть приятным Екатерине.

Чувствуя отныне под собой твердую почву, поляк не замедлил воспользоваться этим, чтобы снова начать лихорадочную деятельность, обдывая дела своих дядей Чарторыйских во вред королю польскому и дела своего друга Вильямса в пользу прусского короля. Часто Екатерина, поддерживая его хлопоты, делала приписки в его письмах к Бестужеву. Когда ее вмешательство не сказывалось явно, оно подразумевалось, что сводилось к одному и тому же. Вскоре снова раздался хор жалоб со стороны французского и австрийского послов. Одно время Дуглас подметил возможность войти в соглашение с молодым двором, а следовательно, с Понятовским. После некоторого колебания и нерешительности маркиз Лопиталь также склонился к этому мнению и перестал противиться пребыванию польского дипломата в северной столице. Но в то же время возникло крупное разногласие между носителями французской политики в Петербурге и представителем ее в Варшаве графом де Брולי. Последний настоятельно требовал отозвания Понятовского. Увы, французская политика и ее влияние на Востоке рушились, таким образом, в непримиримом конфликте противоположных идей и принципов!

В сентябре 1757 года Дуглас отправился в Варшаву и в целом ряде бесед с графом Брольи принялся убеждать его, что необходимо радикально переменить фронт относительно защиты французских интересов в Восточной Европе. Согласно его мнению, вследствие Версальского договора, обусловившего вступление Франции в систему союзов, к которой принадлежали Россия и Австрия, Франция должна разорвать старые связи с Портой и Польшей. Приобретение могущественной дружбы в Петербурге вознаградило бы за потерю влияния в Варшаве и Константинополе.

Таким образом, вопрос поставлен ребром, и только подобное отношение к нему могло бы дать возможность Дугласу и маркизу Лопиталю обезоружить враждебность молодого двора и заручиться содействием Понятовского. Как только Брольи выскажется за открытое и полное согласие с Россией, племянник Чарторыйских, занятый поддержанием в Петербурге русофильской программы своих дядей, превратится в его естественного союзника.

Но граф де Брольи вовсе не разделял подобных воззрений. Что же касается лиц, которым надлежало указать ему направление, какого ему следовало держаться, они просто не имели на этот счет никакого определенного мнения. Люди, ведавшие во Франции внешними сношениями (мы подразумеваем не только анонимных руководителей тайной политики Людовика XV, держателей «королевского секрета», но и официальных министров), – Рулье, аббат Берни или Шуазель – думали согласовать самые непримиримые понятия: перемену системы с непоколебимостью принципов; поддержку русских войск против общего врага с сохранением старинной близости с Турцией, Польшей и Швецией; авансы случайному будущему с верностью прошлому. Если и было различие во взглядах в этом отношении между двумя правящими властями, между министерским, как тогда говорили, кабинетом и таинственной канцелярией, где вырабатывались нередко противоречивые депеши, то оно касалось лишь вопроса о мерах, которые надлежало принять. С одной стороны, на Россию упорно продолжали смотреть как на варварскую страну, с которой немислимо какое-либо соглашение, ее следует отбросить назад в Азию; с другой – проявлялась склонность рассматривать страшную империю, созданную Петром Великим, как союзницу, не очень желанную, но, во всяком случае, возможную и, может быть, необходимую в более или менее отдаленном будущем, и как державу, с которой приходится считаться и надлежит сделать ей некоторые уступки даже на берегах Вислы. Но обе стороны согласны ограничить эти уступки. Прошло более ста лет, прежде чем целый ряд жестоких разочарований, бесплодных усилий, несчастий, разделенных, увы, этими несчастными клиентами, которыми не хотели пожертвовать и все же пожертвовали, не прояснили наконец главный, основной порок подобной концепции и подобной программы. Франция упорствовала в необыкновенном решении защищать поляков, турок и шведов против России, вступая в союз с той же Россией. Что касается графа де Брольи, он вследствие долгого пребывания в Польше стал смешивать интересы Франции даже не с интересами Польши, а одной из партий, действовавших в республике. А эта партия боролась именно с русским влиянием и с могущественной фамилией Чарторыйских, стремившейся к тому, чтобы это влияние восторжествовало, а вместе с ним и сама фамилия.

В результате королевский посол в Варшаве одновременно получил в октябре и официальное и секретное приказание настаивать на отзывании Понятовского; он деятельно принялся за это дело. В ноябре все было готово – Брюль уступил. «Удар направлен, – писал маркиз Лопиталь аббату Берни, – надо его поддержать». Но он к тому же добавлял, что все произошло слишком быстро и внезапно. «Это повлечет за собой, – говорил он, – сильное неудовольствие канцлера Бестужева и злобу великого князя и великой княгини... не могу не выразить вам, что, по моему мнению, граф де Брольи вложил во все это дело слишком много горячности и страстности. Он считал долгом чести по отношению к своей партии (sic!) сделать эту неприятность Понятовским и Чарторыйским. Это, наконец, его *impregno*...» Вообще Лопиталь находит, что граф Брольи, «привыкший властвовать», слишком надменно

обращался со своим коллегой и поступал с ним скорее как министр иностранных дел, а не как посол. Этот властный дипломат также позволял себе неуместные, по мнению его коллеги, шутки. Он писал д'Эону: «Вы, может быть, несколько удивитесь отозванию г. Понятовского; пришлите его нам поскорее; мне очень хочется его увидеть, чтобы поздравить с успехом переговоров».

Однако Понятовский не уехал. Он сказался больным и таким образом с недели на неделю, с месяц на месяц откладывал свою прощальную аудиенцию. Тем временем произошло событие, коренным образом изменившее положение дел и позиции соперников на европейском поле сражения. Франция, которая накануне могла говорить если не властно, то, по крайней мере, имея право быть почтительно выслушанной как в Петербурге, так и в Варшаве, принуждена понизить тон.

Это событие называется Росбахом (5 ноября 1757 г.).

Версальскому кабинету теперь нечего и думать навязывать свои желания. Великая княгиня решительнее дала почувствовать свою волю канцлеру Бестужеву. Тот сослался на приказание первого министра польского короля, настаивавшего на отозвании Понятовского. «Первый министр короля польского согласен лишить себя хлеба, чтобы сделать вам приятное», – резко отвечала она. Когда Бестужев попытался объяснить все необходимостью беречь собственное положение, она ответила без запинки: «Никто вас не тронет, если вы будете делать то, что я хочу». По-видимому, вместе с высоким мнением о перевесе России, приобретенном ценою унижения Франции, будущая императрица имела не менее высокое понятие о собственном своем значении. Это было также следствием сражения при Росбахе.

События оправдали обе эти оценки. Брюль, саксонский министр, действительно лишил себя куска хлеба, чтобы сделать приятное всероссийскому канцлеру: Понятовскому было приказано остаться на своем посту, и все пошло по-старому. Только маркиз Лопиталь раз и навсегда отказался от своих попыток согласовываться с положением вещей, над которыми он не имел больше никакой власти. Он не пробовал уже плыть против течения и лишь «смотрел, как течет вода». Он даже не старался поддерживать сношения с молодым двором, казавшимся ему «очень бурным маленьким морем», полным подводных камней.

Спустя шесть месяцев Понятовский сам доставил графу де Брولли удовлетворение, получить которое тот уже отчаивался. После всего, что совершено Понятовским, ему довольно трудно сделать свое пребывание в Петербурге невозможным, однако он и этого добился. Событие это рассказано различным образом; мы придерживаемся версии главного героя, которая, впрочем, подтверждается и свидетельством маркиза Лопиталья.

Великий князь не сказал еще своего слова по поводу пребывания польского дипломата в России. Он был в то время поглощен новой страстью: Елизавета Воронцова, последняя его любовница, только что выступила на сцену. Вмешательство с его стороны являлось возможной, хотя и не совсем правдоподобной случайностью. Оно произошло в июле 1758 года. Выходя рано утром из ораниенбаумского дворца, Понятовский арестован пикетом кавалерии, который Петр держал вокруг своей резиденции, словно в военное время. Понятовский был переодет. Его без церемоний арестовали и привели к великому князю. Петр настаивал, чтобы ему сказали всю правду, – сама по себе она, по-видимому, его не беспокоила. Он уверял, что «все может устроиться», если ему скажут, в чем дело. Молчание арестованного вывело его из себя. Он заключил из него, что этот ночной посетитель имеет злокозненные намерения против него самого, и вообразил или притворился, что жизнь его в опасности. Понятовский дорого поплатился бы за свою неосторожность, если бы один его соотечественник, недавно приехавший в Петербург в свите принца Карла Саксонского²², не

²² Этот поляк по фамилии Браницкий – глава старинной провинциальной семьи; некоторые члены ее поселились во Франции. Граф Ксаверий Браницкий, хозяин исторического замка и великолепных владений Монтрезор (Indre-et-Loire), –

обнаружил присутствия духа. Но великий князь все же в течение нескольких дней поговаривал о том, чтобы наказать иностранца, пытавшегося обмануть бдительность его аванпостов. Екатерина испугалась и решила принести большую жертву: оказала Елизавете Воронцовой любезность, о которой та никогда не смела мечтать. Понятовский, со своей стороны, стал заискивать перед фавориткой.

«Вам так легко было бы сделать всех счастливыми!» – шепнул он ей на ухо во время приема при дворе. Елизавета Воронцова не заставила себя просить. В тот же день, переговорив предварительно с великим князем, она впустила Понятовского в его комнату.

«Не безумец ли ты, – воскликнул Петр, увидев его, – что до сих пор не доверился мне!» И, смеясь, объяснил, что и не думает ревновать; меры предусмотрительности, принимаемые вокруг ораниенбаумского дворца, – это лишь чтобы обеспечить безопасность его особы. Тут Понятовский вспомнил, что он дипломат, и стал рассыпаться в комплиментах: искусность военных диспозиций его высочества он испытал на своей шкуре. Хорошее настроение великого князя усилилось. «А теперь, – заявил он, – если мы друзья, здесь не хватает еще кого-то!»

«С этими словами, – рассказывает Понятовский (мы приводим дословно отрывок из его «Записок...»), – он идет в комнату жены, вытаскивает ее из постели, не дает ей времени надеть чулки и ботинки, позволяет только накинуть капот (*robe de Batavia*), без юбки, в этом виде приводит ее к нам и говорит ей, указывая на меня: „Вот он; надеюсь, что теперь мною довольны”».

Друзья весело поужинали и расстались только в четыре часа утра; по просьбе заинтересованных лиц Елизавета Воронцова оказалась настолько любезна, что взяла на себя труд лично убедить Бестужева в том, что присутствие Понятовского в Петербурге перестало быть неприятным великому князю. Пирушка возобновилась на следующий день, и в течение нескольких недель это изумительное супружество вчетвером было бесконечно счастливо.

«Я часто бывал в Ораниенбауме, – пишет дальше Понятовский. – Я приезжал вечером, поднимался по потайной лестнице, ведущей в комнату великой княгини; там были великий князь и его любовница; мы ужинали вместе, затем великий князь уводил свою любовницу и говорил нам: „Теперь, дети мои, я вам больше не нужен”. Я оставался сколько хотел».

Однако слухи об этом распространились при дворе, и, несмотря на то, что на подобные проделки смотрели весьма снисходительно, это происшествие все же породило скандал. Маркиз Лопиталь счел своим долгом воспользоваться им, дабы возобновить свои настояния насчет удаления беспокойного поляка. На этот раз он победил. Понятовскому пришлось уехать. Елизавета поняла, что на карту поставлена репутация и честь ее племянника и наследника. Два года спустя барону де Бретейлю поручено изгладить из ума Екатерины неприятное впечатление, произведенное на нее этой тягостной развязкой. Ему удалось это лишь наполовину. Следует, однако, пояснить, что, так как он был одновременно представителем официальной французской политики и секретным агентом тайной, ему приходилось играть двойственную роль и, уверяя великую княгиню, что «его наихристианнейшее величество» не только не станет противиться возвращению графа Понятовского в Петербург, но даже расположен содействовать всеми мерами тому, чтобы «склонить короля польского снова поручить ему свои дела», он вместе с тем был принужден, «не оскорбляя открыто чувств великой княгини, избегать склониться на ее желание».

Сумасбродная двойственность, которой предавался в то время французский король, ярко сказалась в этой комедии. Екатерина не поддалась обману. Добившись не без труда частной беседы с великой княгиней, Бретейль услышал из ее уст несколько комплиментов.

правнук того друга, которому будущий король обязан своим спасением. В то же время другая семья, носящая ту же фамилию, но древнее и знатнее и имеющая свой герб, угасла – в лице Яна Клемента Браницкого. Эта встреча и тождественность имен нередко давали повод к сбивчивым толкованиям.

«Меня воспитывали в любви к французам, – сказала она, – и я долгое время предпочитала их другим нациям; вы своими услугами должны вернуть мне это чувство». «Я бы хотел, – пишет барон после этого свидания, – передать искусство, страстность и смелость, вложенные великой княгиней в этот разговор». Но он меланхолически добавляет: «Все это не имеет и, может быть, не будет иметь другого значения, кроме проявления ее страсти, наткнувшейся на препятствие».

Он был прав. Понятовский вернулся в Петербург лишь тридцать пять лет спустя, уже лишившимся престола королем. Вскоре, поглощенная другими заботами, отвлеченная другими любовными приключениями, Екатерина сама потеряла интерес к хлопотам на этот счет, предпринятым другими лицами. Но злопамятное чувство все еще гнездилось в ее сердце, тем более что, хотя она и отказалась увидеть снова своего поляка, она все же не перестала о нем думать. Постоянство, иногда довольно своеобразное, было одной из черт ее характера. Так как она соединяла любовь с политикой, ей пришлось отныне одновременно вести свои как сердечные, так и другие дела. Иногда – не всегда, впрочем, – она умела проявлять последовательность и постоянство. Таким образом, часто меняя любовников, она любила некоторых из них и за пределами временного увлечения сердца или чувственности. Она их любила иначе, более спокойно, но и более решительно, безмятежно, невозмутимо, как выразился впоследствии князь де Линь. Безусловно, проглядывают дерзость и даже некоторый цинизм в рескрипте, данном ею в 1763 году своему послу в Варшаве, – том, в котором, приказывая ему поддерживать кандидатуру Понятовского, она говорит, что «он во время своего пребывания в Петербурге оказал своей родине больше услуг, чем кто-либо из министров республики». Меры, принятые ею в то же время для уплаты всех долгов этого странного кандидата, свидетельствуют о ее нежности в соединении с мудрой предусмотрительностью. В 1764 году предположение о браке ее с избранником польского народа и о слиянии вследствие этого обеих держав показалось всем столь вероятным, что Екатерине пришлось прибегнуть к искусным мерам, чтобы успокоить взволновавшихся соседей. Она написала Обрезкову, своему послу в Константинополе, чтобы он сообщил Порте придуманную ею новость о переговорах, начатых Понятовским, задумавшим вступить в брак с представительницей одной из знатнейших польских фамилий. И сердце ее становится настолько равнодушным к роману, затянувшемуся, таким образом, несмотря на расстояние времени и места, что она одновременно приказывает своим представителям в Варшаве, графу Кейзерлингу и князю Репнину, устроить так, чтобы тотчас по своем избрании Понятовский женился на польке или, по меньшей мере, выразил намерение это сделать. Все это придумано для того, чтобы умерить беспокойство Порты; может быть, также с целью воздвигнуть непреодолимое препятствие между прошлым и настоящим. Увы, близкое будущее избавило ее от этой заботы, вырыв на месте желанного препятствия бездонную пропасть. Вот что Понятовский, став королем польским, писал два года спустя своему представителю при петербургском дворе графу Ржевскому:

«Последние приказания, данные Репнину, ввести диссидентов даже в законодательные учреждения, как громом поразили как меня лично, так и страну. Если есть еще возможность, убедите императрицу в том, что корона, которую она мне доставила, станет для меня хитом Несса. Она меня сожжет, и смерть моя будет ужасна...»

Бывший любовник превратился в то время для Екатерины лишь в исполнителя ее властных желаний в почти завоеванной стране. Она ответила собственноручным письмом, в котором просила этого импровизированного короля, хрупкое создание своих рук, позволить Репнину делать свое дело, а то «императрице придется лишь вечно сожалеть о том, что она могла ошибиться в дружбе короля, в его образе мыслей и в его чувствах». Когда Понятовский стал настаивать, она послала ему последнее и грозное предостережение, где уже пред-

чувствовались крепкие тиски Сальдернов, Древичей и Суворовых, задушивших последние национальные протесты:

«Мне остается лишь предоставить это дело своей участи... Я закрываю глаза на последствия его; я, однако, польщена тем, что Ваше величество достаточно распознали бескорыстие всего, что я сделала для Вашего величества и для Вашего народа, чтобы не упрекнуть меня в том, что я искала в Польше случая применить силу своего оружия... Оно никогда не будет направлено против тех...» Тут перо императрицы остановилось; она написала было: «...кого я люблю», затем перечеркнула эти слова и написала: «...против тех, кому я желаю добра»; закончила фразой, в которой сказала вся ее мысль, раскатившаяся, как барабанный бой перед залпом: «Как я и не буду удерживать его, когда найду, что применение его будет полезно».

Мы лишь мельком вернемся потом к этой связи, богатой столь странными и трагическими эпизодами. В жизни Екатерины она заняла меньше места, чем в жизни несчастного народа, которому суждено было играть роль искупительной жертвы. Рискнув своей репутацией, потому что не боялась уже скомпрометировать ее, и своим влиянием, которое сумела сохранить в неприкосновенности, Екатерина в конце концов извлекла из нее огромные выгоды. Можно бы сказать, что Польша умерла вследствие нее, если бы народы не имели более глубоких причин для своей жизни или смерти. Нам следует теперь вернуться к той эпохе, когда протекали и кончались счастливые дни этого любовного романа, и к странному домашнему очагу, походившему на тюрьму, кордегардию и на веселый дом, укрывавшему – довольно нескромно – эту тайну.

IV

Связанная политически с Вильямсом и Бестужевым, любовно и политически – с Понятовским, Екатерина уже не представляет собою прежней затворницы, состоявшей под надзором придворных чинов, терроризованной Елизаветой и подвергавшейся дурному обращению со стороны мужа. Агенты канцлера поочередно укрощены ею, и сам он подвергся той же участи. Петр остается все тем же грубым, эксцентричным и несносным существом, «странным и тронутым сумасшествием животным», как называет его Сент-Бёв. Иногда он внушает отвращение к себе. Нередко ложится в кровать совершенно пьяный и, икая, рассказывает жене о своей любви к горбатой герцогине Курляндской и к рябой фрейлине Воронцовой. Екатерина притворяется спящей, он награждает ее пинками и ударами кулаков, чтобы не дать ей заснуть, пока наконец сон не одолевает его самого. Он почти всегда пьян и все больше безумствует. В 1758 году Екатерина родила дочь, царевну Анну, отцом которой считали Понятовского. В то время как она мучается в предродовых схватках, Петр, предупрежденный о приближении родов, является «в голштинском мундире, в ботфортах и при шпорах, в шарфе и с огромной шпагой сбоку». На вопрос Екатерины, что означает этот наряд, он отвечает, что «настоящих друзей можно распознать лишь в минуту нужды; что в этом наряде он готов исполнить свой долг; что долг голштинского офицера защищать согласно присяге герцогский дом против всех его врагов, вследствие чего он и прибежал на помощь жене, предполагая, что она одна». Он едва держится на ногах. Однако у него иногда являются и более приятные для Екатерины припадки хорошего расположения духа и любезности, из которых Екатерина извлекает пользу. Он отчасти поддался если не очарованию великой княгини, подобно другим, то влиянию ее характера и ума. Ему нередко приходилось убеждаться в мудрости ее советов и правильности ее взглядов. Он привык советоваться с ней во всех своих затруднениях, и мало-помалу в его затемненном мозгу крепнет представление о ее превосходстве, которое ему суждено было так жестоко испытать на себе. В роковую минуту именно эта мысль, засевшая в нем, парализовала его и сделала неспособным к самозащите.

«Великий князь, – пишет Екатерина, – давно уже называл меня *madame la Ressource*²³, и, как бы он ни был сердит на меня, в затруднительных случаях он со всех ног прибегал ко мне, чтоб просить моего совета, и, получив его, так же, со всех ног убегал».

Елизавета же, истощенная порочной жизнью, преследуемая страхом, заставлявшим ее спать каждую ночь в другой комнате, – страхом, вследствие которого по всей империи искали человека, обладавшего достаточной способностью сопротивления сну, чтобы сидеть около ее постели и ни на минуту не задремать, – Елизавета стала лишь тенью самой себя.

«Императрица, – доносит маркиз Лопиталь 6 января 1759 года, – стала жертвой странного суеверия. Она целыми часами стоит перед одной иконой, которую особенно читит; она с ней разговаривает, советуется; она приезжает в оперу в одиннадцать часов, ужинает в час и ложится спать в пять часов. Теперь в фаворе граф Шувалов. Его семья осаждает императрицу, а дела идут как им бог на душу положит».

Новый фаворит, Иван Шувалов, не опасаясь навлечь на себя ревность и гнев императрицы, начинает у нее на глазах усиленно ухаживать за великой княгиней, что стало привлекать всеобщее внимание. «Он не прочь был бы, – уверяет барон де Бретейль, – совмещать две обязанности, как бы это ни было опасно». С 1757 года маркиз Лопиталь приходит в ужас от того, что молодой двор (а молодой двор – это Екатерина) «открыто опускает забрало перед императрицей, образует партию, ведет интригу...». «Говорят, – пишет он, – что императрица перестала на это сердиться и распустила вожжи». В то же время в разговоре, в котором принимают участие все иностранные министры, великая княгиня, говоря с французским послом о своем пристрастии к верховой езде, восклицает: «Я самая смелая женщина в мире; я обладаю безумной отвагой».

Она все более очаровывает обширный круг людей, которые становятся рабами ее воли, ее честолюбия, ее страстей, наконец, разгоравшихся с каждым днем. Отныне она оставляет за собой свободу действий не только в области политики; если, с одной стороны, молодой двор напоминает бурное море, по выражению маркиза Лопиталья, с другой стороны, барон де Бретейль находит в нем сходство с окрестностями знаменитого *Parc aux Cerfs*. Впрочем, последние годы царствования Елизаветы отличаются общей распущенностью нравов.

В марте 1755 года саксонский резидент Функе описывает представление в императорском театре оперы «Кефал и Прокрида». На представлении присутствуют императрица, великий князь и весь двор, – а на сцене изображен именно двор, с его распущенными нравами, в целом ряде картин такого отталкивающего реализма, что честный Функе считает своим долгом опустить завесу на весь этот разврат. К тому же году относится и занесенный Екатериной в свои «Записки...» эпизод, открывающий новую главу в ее интимной жизни, – период ночных отлучек, сводящих на нет подобие надзора, учрежденного за ней. В течение зимы Лев Нарышкин, верный своему шутовскому вдохновению, придумал мяукать как кошка у двери великой княгини, чтобы известить о своем присутствии и испросить разрешения войти. Однажды вечером он издает знакомый звук в ту минуту, когда Екатерина собирается ложиться спать. Она его впускает, и он предлагает ей посетить жену своего старшего брата, Анну Никитичну, которая больна.

– Когда?

– Сейчас, ночью.

– Вы с ума сошли?

– Ничуть, это очень легко.

Затем он излагает ей свой план и придуманные им меры предосторожности: следует пройти через апартаменты великого князя, который ничего не заметит, так как ужинает с несколькими любезными кавалерами и дамами и, может быть, даже уже лежит под столом.

²³ Мадам Находчивость (*фр.*).

Он убеждает Екатерину, что опасности нет никакой, и та соглашается. Она дает Владиславовой раздеть себя и уложить спать и вместе с тем приказывает одному калмыку, приученному ею к слепому повиновению²⁴, приготовить ей мужской костюм. По уходе Владиславовой она встает и уходит с Нарышкиным. К Анне Никитичне они проходят беспрепятственно, та оказывается здоровой и в веселой компании. Время протекает очень весело, и участники пирушки дают обещание повторить ее и приводят, конечно, в исполнение свое намерение. Понятовский тоже участвует в общем веселье. Иногда возвращаются пешком по угрюмым петербургским улицам. Когда устанавливается суровая зима, вся компания придумывает способ возобновить удовольствия, не подвергая великую княгиню риску простудиться в холодные ночи, и Понятовский переселяется к ней, в ее спальню, проходя по-прежнему через апартаменты великого князя, не ставшего более прозорливым.

После вторых своих родов Екатерине недостаточно ночей, она устраивается так, что принимает и днем когда, кого и как хочет. Если читатель помнит, ей пришлось страдать от холода во время своей первой беременности; под этим предлогом она сооружает около своей кровати, посредством целой системы ширм, нечто вроде кабинета, где, как она уверяет, она защищена от сквозняков. Когда в ее спальню входят люди, не посвященные в эту тайну, и спрашивают, что скрывают ширмы, она отвечает: «Это судно». Между тем Екатерина нередко принимает там избранных гостей вроде Нарышкина и Понятовского. Последний приходит в огромном белом парике, делающем его неузнаваемым, и, если его останавливают и спрашивают, «кто идет», он отвечает: «Музыкант великого князя». «Кабинет», плод изобретательного ума Екатерины, так остроумно устроен, что она может не вставая с постели общаться с теми, кто в нем сидит, и скрыть их от всех взоров, задернув одну занавеску кровати. Таким образом, имея подле себя за этим занавесом обоих Нарышкиных, Понятовского, Сенявина, Измайлова и других, она могла принять графа Петра Шувалова, пришедшего к ней от имени императрицы и ушедшего в уверенности, что великая княгиня одна. По уходе Шувалова Екатерина объявляет, что страшно голодна, и, приказав принести шесть блюд, угощает своих друзей. Затем снова задергивает занавеску и, позвав лакеев, чтобы унесли пустые блюда, наслаждается их изумлением перед ее необыкновенным аппетитом.

Без сомнения, ее фрейлины знают про эти проделки. Но они этим не смущаются, так как и у них нет недостатка ни в дневных, ни в ночных посетителях. Чтобы проникнуть в их апартаменты, надо пройти через квартиру мадам Шмидт, их надзирательницы, или принцессы Курляндской, их начальницы.

Но мадам Шмидт по ночам большей частью больна желудком, который расстраивает себе днем обильной пищей. Что касается принцессы Курляндской, то достаточно быть красивым и заплатить попутно ей дань. Мы уже знаем, как обстояли дела с великим князем. Впрочем, узнав о второй беременности жены, Петр как будто сердится. Насколько он помнит, он к этому непричастен. «Бог знает, откуда она их берет! – бормочет он за обедом. – Я не знаю хорошенько, мой ли этот ребенок и должен ли я его принять на свой счет». Лев Нарышкин, слышавший эти слова, спешит передать их Екатерине. Она ничуть не пугается. «Какие вы дети, – говорит она, пожимая плечами. – Идите к нему, говорите громко и потребуйте от него тотчас клятвенного заверения, что он не спал с женой вот уже четыре месяца. Затем объявите, что вы идете сейчас же к графу Александру Шувалову, великому инквизитору империи». Она называла так начальника Тайной канцелярии, замененной потом знаменитым Третьим отделением. Лев Нарышкин в точности исполняет поручение. «Убирайтесь к черту!» – заявляет ему великий князь – совесть его нечиста.

²⁴ Этот человек, простой, неотесанный мужик, к тому же напоминавший собой кунсткамерного уродца, звался Чулковым. Впоследствии его произвели в камергеры.

Несмотря на обнаруженную ею самоуверенность, инцидент этот все же беспокоит Екатерину. Она усматривает в нем предупреждение и как бы начало неприязненных действий в той решающей борьбе, к которой она готовилась с некоторых пор под влиянием вождельней власти и наслаждений, волной поднимающихся в ее груди. Но она принимает вызов. Вероятно, в это время, если верить ее словам, она и решается «идти по независимому пути»; можно себе представить, какое значение принимают в ее уме эти столь простые слова. Свержение с престола Петра III и его агония в мрачном дворце в Ропше стоят в конце избранного ею пути. Но в это же самое время разражается кризис, поставивший ее за несколько часов и на несколько месяцев лицом к лицу с бездной и с возможностью разрушения всех ее надежд и честолюбивых замыслов.

V

26 февраля (15-го по русскому стилю) 1758 года канцлер Бестужев арестован. В то же время фельдмаршал Апраксин, командовавший армией, посланной в Пруссию против Фридриха, смещен с должности и отдан под суд. Эти два события казались в глазах публики связанными между собой. События, ознаменовавшие собой кампанию, известны. Взятие Мемеля и победа под Гросс-Егерсдорфом, одержанная Апраксиным в августе 1757 года, преисполнили радостью союзников России и возбудили в них величайшие надежды. В воображении они уже видели Фридриха растерянным, просящим помилования. Однако вместо того чтобы идти вперед и воспользоваться своими преимуществами, победоносная армия внезапно оставила свои позиции и отступила с такой поспешностью, что казалось, будто роли переменились и войска прусского короля вместо испытанного кровавого поражения одержали очередную победу. Громкие негодующие возгласы раздались в стане противников Фридриха. Очевидно, Апраксин изменил. Но зачем, почему? Все знали его как лучшего друга Бестужева. Стало известно также, что великая княгиня писала ему несколько раз через посредство и по просьбе канцлера. Этого достаточно. Без сомнения, фельдмаршал привел в исполнение план, придуманный старыми или новыми друзьями Пруссии и Англии. Бестужев, подкупленный Фридрихом, увлек великую княгиню, склонную следовать его указаниям вследствие своих связей с Вильямсом и Понятовским, и они вдвоем убедили победоносного генерала пожертвовать своей славой, интересами общего дела и честью своего знамени. В особенности во Франции все были в этом убеждены. Графу Стенвиллю, послу французского короля в Вене, поручено предложить австрийскому правительству ходатайствовать сообща у Елизаветы об удалении Бестужева. Кауниц, однако, попросил времени, чтобы поразмыслить, и в конце концов отклонил предложение, так как получил из Петербурга известия, обелявшие Екатерину и Бестужева. Представитель венского двора в Петербурге Эстергази не считал их виновными, и один только маркиз Лопиталь формулировал и поддерживал до конца это обвинение. Во время следствия над канцлером он все еще писал:

«Первый министр нашел средство соблазнить великого князя и великую княгиню настолько, чтобы они убедили генерала Апраксина не действовать так быстро, как приказывала императрица. Эти интриги велись на глазах императрицы; но так как ее здоровье было тогда очень плохо, она только о нем и думала, между тем как весь двор поддавался желаниям великого князя и в особенности великой княгини, вовлеченной в дело ловкостью Вильямса и английскими деньгами, которые этот посол передавал ей через посредство Бернарди, своего ювелира... признавшегося во всем. Великая княгиня имела неосторожность, чтобы не сказать смелость, написать генералу Апраксину письмо, в котором освобождала его от данной ей клятвы удерживать армию и разрешала ему привести ее в действие. Г. Бестужев показал однажды письмо в оригинале г. Бюкову, уполномоченному императрицы-королевы, приехавшему в Петербург с целью поторопить операции русской армии; тогда тот почел своим

долгом доложить об этом графу Воронцову, камергеру Шувалову и графу Эстергази. Это был первый шаг, повлекший за собой падение г. Бестужева».

В настоящее время почти достоверно известно, что, хотя поведение Екатерины и канцлера было довольно двусмысленно в этом деле, все же они оба ни при чем в отступлении армии, находившейся под командой фельдмаршала Апраксина. Екатерина сама постаралась обелить себя и своего предполагаемого сообщника, освободить от всяких подозрений касательно этого дела, и она сделала это, когда признание не стало для нее слишком тяжким. Движение, предписанное русской армии после победы под Гросс-Егерсдорфом, исходило от трех военных советов, собравшихся 27 августа, 13 и 28 сентября. Генерал Фермор, преемник Апраксина, принимал участие в этих советах и стоял за отступление. Армия умирала с голоду, и Апраксин предвидел, что иначе и быть не могло. Сторонники союза с Австрией требовали движения вперед, не подумав о снабжении армии продовольствием. Лица, окружавшие Елизавету, также кричали: «В Берлин! В Берлин!» Таким образом, фельдмаршалом пожертвовали в угоду австро-французской партии. Что касается Бестужева, падение его давно решено, и опала Апраксина послужила лишь поводом к его ускорению. Враги канцлера проводили о проекте, составленном канцлером, привлечь Екатерину к участию в управлении империей. Они внушили Елизавете, что в бумагах Бестужева найдутся документы, касающиеся безопасности ее короны. Это склонило ее на окончательное решение.

Можно представить ужас Екатерины, когда она узнала о произошедшем. Не объявят ли ее сообщницей павшего министра, находящегося перед лицом обвинения в государственной измене? Ее письма к Апраксину ничего не значили. Но знаменитый проект, сообщенный ей! Чем грозит он ей? Тюрьмой, может быть, пыткой, а впоследствии страшной опалой? Монастырем?.. Возвращением в Германию? Кто знает, может быть, даже Сибирью?.. Дрожь пробежала по телу. Так вот чем кончаются ее мечты и надежды!

Однако она быстро взяла себя в руки. В эту трагическую минуту мы видим ее одним великолепным, смелым прыжком взлетевшей на высоту своей будущей судьбы, мужественной и решительной, спокойной и находчивой, – словом, такой, какой она станет в близком будущем, когда, подчинив себе судьбу и завоевав верховную власть, сумеет выкроить себе из окровавленной одежды Петра III самую великолепную императорскую мантию, какую когда-либо носила женщина. Ее воспитание окончено; она вполне владеет своими природными и приобретенными дарованиями, одной из самых чудесных физических и умственных организаций, подготовленной к борьбе, к управлению делами и людьми. Она ни минуты не колеблется и мужественно встречает опасность лицом к лицу.

На следующий день после ареста канцлера при дворе дается бал по случаю помолвки Льва Нарышкина. Екатерина появляется на балу – она улыбается и непринужденно весела. Следствие по готовившемуся страшному процессу поручено трем высоким чинам империи: графу Шувалову, графу Бутурлину и князю Трубецкому. Екатерина подходит к последнему.

«Что значат эти милые слухи, дошедшие до меня? – весело спрашивает она его. – Нашли ли вы больше преступлений, чем преступников, или больше преступников, чем преступлений?»

Изумленный такой самоуверенностью, Трубецкой бормочет что-то и рассыпается в извинениях. Его коллеги и он лишь исполнили свой долг. Они допросили предполагаемых преступников, но преступлений еще не нашли. Немного успокоенная, Екатерина собирает дополнительные сведения.

«Бестужев арестован, – просто отвечает Бутурлин. – Но мы еще не знаем за что».

Итак, ничего еще не раскрыто, и в результате Екатерина, расспрашивая двух «инквизиторов», выбранных Елизаветой, и вслушиваясь в их ответы, сделала открытие: в их смущенных позах, в их глазах, избегающих ее взгляда, она прочла страх! Да, страх, уже внушаемый ею, страх перед той будущностью, которую, по всей вероятности, они угадывают

в ее глазах. Несколько часов спустя она дышит еще свободнее – голштинскому министру Штампке удастся передать ей записку от Бестужева: «Не беспокойтесь насчет того, что знаете: я успел все сжечь».

Старая лиса не попала в ловушку. Следовательно, Екатерина может смело идти вперед. Прошло то время, когда, согласно совету одной из статс-дам, мадам Крузе, решила отвечать на все упреки императрицы словами: «Виновата, матушка», что производило, по-видимому, прекрасное действие. Маркиз Лопиталь, с которым она советуется, – вероятно, чтобы ввести его в заблуждение насчет своих намерений, – тщетно увещевает ее чистосердечно сознаться во всем императрице. Ей это и в голову не приходит!

При посредстве Штампке, Понятовского, своего камердинера Шкурина она завязывает и поддерживает деятельную переписку с Бестужевым и другими узниками, замешанными в деле: с ювелиром Бернарди, учителями русского языка Ададуровым и Елагиным, другом Понятовского. Маленький егерь, оставленный бывшему канцлеру, кладет записки в кучу кирпичей, превращенную в почтовый ящик, служащий, впрочем, для двойной цели, так как любовная переписка с Понятовским ведется тем же путем. Понятовский назначает ей как-то свидание в опере, Екатерина обещает ехать во что бы то ни стало. Ей, однако, трудно сдержать слово, так как в последнюю минуту великий князь противится ее выезду: у него другие планы на вечер, и он не желает, чтобы великая княгиня расстраивала их, увозя своих фрейлин, в особенности фрейлину Воронцову. Он даже отменяет приказания великой княгини и запрещает запрягать лошадей. Екатерина подхватывает мяч на лету: она поедет в театр, пойдет, если понадобится, пешком; но прежде напишет императрице, расскажет ей, какому дурному обращению подвергается со стороны великого князя, и попросит разрешения вернуться к своим родителям в Германию. Само собой разумеется, что она более всего страшится насильственного и постыдного возвращения в родную страну, к ограниченному горизонту и стесненности, чтобы не сказать нищете, семейного очага. Куда она, впрочем, вернется? Отца ее больше нет: она в 1747 году оплакивала его смерть. Ей даже помешали оплакивать ее долго. Через неделю приказали осушить слезы, объявив, что этикет не позволяет носить траур, так как покойный не был лицом коронованным. Что касается матери, ей самой пришлось покинуть Германию вследствие известного инцидента, повлекшего за собою оккупацию Цербстского герцогства Фридрихом. В августе 1757 года аббат Берни вздумал послать в Цербст специального уполномоченного маркиза Френа «с целью внушить великой княгине чрез посредство принцессы Цербстской надлежащие чувства». Фридрих, узнав о присутствии в его соседстве французского офицера, приказал отряду гусар арестовать его. Френ, застигнутый во время сна, мужественно защищался. Он забаррикадировался в своей комнате, пистолетным выстрелом разнес голову первому пруссаку, переступившему порог, поднял на ноги весь город, был освобожден и отведен в замок. Фридрих, не пожелавший признать себя побежденным, послал целый корпус с пушками, чтобы осадить мятежного француза. Френ наконец сдался. Герцогство и город Цербст уплатили военные издержки. Владетельный герцог, брат Екатерины, укрылся в Гамбурге. Мать ее искала убежища в Париже, где довольно неприязненно принята, несмотря на то, что пострадала из-за Франции. Там опасались ее пристрастия к интригам и беспокойного характера. Все же французское правительство радо иметь нечто вроде «залога» и могущественного средства воздействия на великую княгиню. Но именно это неожиданное происшествие напугало петербургский двор. По просьбе вице-канцлера Воронцова Лопиталю пришлось просить удаления принцессы; ему ответили, что ее не приглашали; если бы раньше предупредили, ее бы даже задержали в Брюсселе, но теперь нельзя ее удалить, не оскорбив великой княгини и не нанеся вреда даже самим себе. «Франция, – благородно писал де Берни, – всегда служила убежищем несчастных принцев. Принцесса Цербстская, пострадавшая отчасти из-за своей привязанности к королю, имеет более прав на гостепримство, чем кто-либо другой».

Куда же отправилась бы Екатерина, если бы ей пришлось покинуть Россию? В Париж? Елизавета никогда не согласилась бы увеличить список несчастных принцев, нашедших приют во Франции, добавив к ним еще русскую великую княгиню! Довольно и того, что мать великой княгини в их числе. Но чем невероятнее это кажется Екатерине, тем смелее она на этом настаивает. Елизавета, со своей стороны, не спешит с ответом. Она велит передать великой княгине, что объяснится с ней лично. Проходят дни и недели. Следствие по делу Бестужева и его предполагаемых сообщников продолжается, и, если верить маркизу Лопиталю, лихорадочно следящему за ним, каждый день открываются новые доказательства его виновности, хотя все же никак не удается составить достаточно обоснованный обвинительный акт, по которому можно предать его суду.

Наконец Екатерина решается на смелый шаг. Однажды ночью будят духовника императрицы и объявляют ему, что великая княгиня очень плоха и желает исповедаться. Он к ней идет, и Екатерина убеждает его в необходимости предупредить императрицу. Елизавета пугается и соглашается сделать то, о чем ее просят: дать аудиенцию Екатерине! Мы знаем об этом свидании лишь то, что сообщает нам сама Екатерина. Через сорок лет, может быть, ее изложение и не совершенно точно; это замечание относится ко всему автобиографическому труду, из которого мы до сих пор черпали столько сведений; больше нам, к сожалению, не придется к нему прибегать, так как «Записки...» прерываются именно на этом моменте²⁵. Однако в повествовании нет и следа деланости или заботы о произведении эффекта; повествование непринужденно и естественно возносится до самого острого драматического накала. Место свидания – уборная императрицы, большая комната, погруженная в полумрак; свидание происходит вечером. На заднем плане, подобно алтарю, возвышается мраморный туалетный стол, за которым Елизавета проводит долгие часы в поисках крылатого призрака исчезнувшей красоты; он блестит в полутьме своими тяжелыми кувшинами и золотыми тазами, бросающими красные отсветы. В одном из тазов Екатерина, привлеченная светлыми пятнами, видит бумаги, брошенные туда, вероятно, рукой императрицы. Она догадывается, что это обличительные документы – ее письма к Апраксину и Бестужеву. За ширмой слышатся глухие голоса; она их узнает: это ее муж и Александр Шувалов.

Наконец появляется Елизавета, надменная, с жестким взглядом и короткой речью. Екатерина бросается к ее ногам; не дав ей времени начать свой допрос, она предупреждает ее и возобновляет просьбу, изложенную ею письменно: отпустить ее к матери. В голосе ее дрожат слезы; это скорбная жалоба ребенка, обиженного чужими людьми и желающего вернуться к своим. Елизавета изумлена и слегка смущена.

«Как я объясню твою отправку?» – спрашивала она. «Сказав, что я имела несчастье не понравиться вашему величеству». – «Но как ты будешь жить?» – «Как и жила до того, как ваше величество изволили приблизить меня к себе». – «Но твоя мать принуждена была бежать из своего дома. Она, как ты знаешь, теперь в Париже». – «Она действительно навлекла на себя гнев короля прусского своею любовью к России».

Реплика победоносная. Каждое слово достигает цели. Смущение императрицы, видимо, возрастает.

Однако она пробует произвести и со своей стороны нападение – упрекает молодую женщину в чрезмерной гордости. Однажды в летнем дворце императрица принуждена была спросить ее, не болит ли у нее шея, так как ей, очевидно, трудно было склонить голову перед ней. Разговор, таким образом, сводится к вульгарной ссоре на почве уязвленного самолюбия. Екатерина становится тише воды и ниже травы. Она вовсе не помнит того случая, о котором

²⁵ Что касается подлинности документа, русские историки признают его бесспорным, вопреки обратному утверждению Екатерины в ее письме к Гримму: «Я не знаю, что Дидро подразумевает под моими «Записками...»; безусловно, верно то, что я их не писала, и если это грех – не вести записок, – я себя в этом грехе обвиняю» (22 июня 1790 г. Архив МИДа Франции. «Rossica»).

изволит говорить ее величество. Она, вероятно, по глупости не поняла слов, сказанных ей тогда императрицей. Но глаза ее – глаза хищного зверя, о которых говорит Воронцов, – блестят, глядя на императрицу. Дабы избежать этого взгляда, перед которым задрожали Трубецкой и Бутурлин, Елизавета отходит к другому концу комнаты и говорит с великим князем. Екатерина прислушивается. Петр пользуется этим случаем, чтобы обвинить жену, которую считает заранее приговоренной. Он в несдержанных выражениях жалуется на ее злобу и упрямство. Екатерина вскакивает.

«Да, – восклицает она звенящим голосом, – я зла! Я зла и буду всегда злой с теми, кто несправедливо со мной обращается! Да, я с вами упряма, с тех пор как убедилась, что ничего не выигрываешь, уступая вашим прихотям!..»

«Вы видите!» – обращается к императрице великий князь, думая, что торжествует.

Но императрица молчит. Она еще раз встретила взглядом с Екатериной, услышала звук ее голоса, и ей тоже стало страшно. Однако она еще пытается запугать молодую женщину. Просит ее сознаться в преступных сношениях с Бестужевым и Апраксиным и в том, что писала последнему другие письма, кроме тех, что находятся в деле. В ответ на несогласие Екатерины грозит подвергнуть бывшего канцлера пытке. «Как вашему величеству будет угодно», – отвечает Екатерина. Елизавета побеждена; она меняет тон на более дружелюбный и знаком дает понять Екатерине, что не может говорить с ней откровенно в присутствии великого князя и Шувалова. Екатерина на лету подхватывает намек и, понизив голос, неясно бормочет, что и она хотела бы открыть императрице свою душу и мысли. Елизавета умиляется и проливает слезы. Екатерина следует ее примеру. Петр и Шувалов поражены. Дабы прекратить эту сцену, императрица вспоминает, что уже поздно. Действительно, уже три часа утра. Екатерина удаляется; но не успела она еще лечь в постель, как от имени императрицы является Александр Шувалов, просит ее успокоиться и объявляет ей о новом и скором свидании с ее величеством. Через несколько дней к ней приходит сам вице-канцлер с просьбой не думать более о возвращении в Германию. Наконец, 23 мая 1758 года²⁶ обе женщины встречаются вновь и расстаются, по-видимому, в восторге друг от друга. Екатерина опять плачет, но из ее глаз текут слезы радости «при воспоминании о всех благодеяниях, которыми ее осыпала императрица». Ее победа полная и решительная.

Дело Бестужева тянется еще почти целый год, но всем ясно, что главная пружина интриги против бывшего канцлера больше не действует. В октябре 1758 года маркиз Лопиталь даже опасается снятия опалы со страшного соперника. В апреле следующего года Елизавета решает покончить с этим делом. Посредством манифеста она объявляет о преступлении коварного министра, желавшего внушить императрице недоверие к ее возлюбленному племяннику и наследнику великому князю и возлюбленной племяннице великой княгине. Однако этот великий преступник, чьи злоумышления не удались, избавляется от заслуженной смертной казни. Даже имущество его не конфискуется. Его просто ссылают в его имение Горетово. Остальные обвиняемые (фельдмаршал Апраксин умер от апоплексического удара во время процесса) пользуются таким же снисхождением.

«Под влиянием страха, преобладающего в сердце этого народа, находящегося под игом деспотизма, – пишет в то же время маркиз Лопиталь, – все вельможи и все дамы, близкие к императрице, поддерживали великую княгиню и интриговали в ее пользу. Во главе этой партии встали фаворит Шувалов и его двоюродный брат, Петр Шувалов. Только граф Воронцов и граф Олсуфьев остались верными государыне. Все остальные, напуганные, трусливые и

²⁶ Первое свидание произошло 13 (24) апреля 1758 г. Это число обозначено в депеше английского посланника Кейта. Это событие описано в нескольких депешах маркиза Лопиталья, ускользнувших от столь точного, впрочем, изучения, которому Вандаль подверг его корреспонденцию (*Vandal A. Lots XV et Elisabeth de Russie. Paris, 1882. P. 323*).

коварные, прикрывая свое поведение уважением к великой княгине, повинуюсь ее желанию, сообщали ей все, что они знали о чувствах и расположении ее императорского величества».

Что касается Петра, решившегося на смелый шаг, то он быстро спустил флаг и сдался. В июне 1758 года Екатерина властно потребовала удаления его любимца Брокдорфа, который несколько месяцев назад говорил направо и налево, что следовало «раздавить змею». «Змеей» была Екатерина. В конце следующего года уже не великая княгиня, а великий князь просил разрешения вернуться в Германию.

«Великий князь, – писал Лопиталь, – был нездоров несколько дней. Я узнал, что он просил ее императорское величество через обер-камергера, которого нарочно для этого призывал к себе, разрешить ему удалиться в Голштинию. Ее императорское величество находит, что этот бестактный поступок исходит из больного мозга, и приписывает это неудовольствие тому, что императрица взяла музыкантов и певцов, нанятых великим князем. Великая княгиня появлялась при дворе во вторник; императрица приняла ее очень милостиво и была с ней любезнее обыкновенного».

Как бы ни велико легкомыслие Петра, его неудовольствие имело, вероятно, более серьезные причины. Однако он все же остался в России, чтобы изжить свою мрачную судьбу, а теперь судьба его уже начертана. Будь Петр проницательнее, он бы ее прочел также и в глазах Екатерины.

Глава вторая Борьба за престол

I. Перемены среди приближенных Екатерины. – Уничтожение по следних связей, соединявших ее с семьей и с немецкой родиной. – Пребывание принцессы Цербстской в Париже и ее смерть там. – Новые знакомства и новые увлечения: английский посланник Кейт. – Григорий Орлов. – Княгиня Дашкова. – Панин. – Последние минуты царствования Елизаветы. – Кто будет наследовать ей?

II. Смерть императрицы. – Противоречивые догадки о ее последней воле. – Петр III мирно вступает на престол. – Резкое изменение внешней политики. – Авансы прусскому королю. – Император объявляет о своем намерении разорвать с союзниками. – Сцена, устроенная им барону Бретейлю на ужине у канцлера Воронцова. – Игра императора. – «Испания проиграет». – Гнев герцога Шуазеля. – Заключение мира с Пруссией. – Внутренние преобразования. – Чем они вызваны. – Их значение. – Петр III сам готовит себе гибель. – Недовольство армии. – Негодование Екатерины. – Петр публично оскорбляет жену. – «Дура!» – Он грозит ей арестом.

III. Революционный заговор. – Рассказ Рюльера. – Его не правдоподобность. – «Записки...» княгини Дашковой. – Признания, сделанные ею Дидро. – Противоречия. – Недостаточность верных исторических данных. – Вероятное положение вещей. – Рискованные и неумелые попытки Орловых и княгини Дашковой. – Роль барона Бретейля. – «Покупка» в 60 тысяч рублей. – Заместитель де ла Шетарди. – Вильбуа. – Никто не сомневается в том, что должно произойти. – Колебания Екатерины. – Она находится в ожидании событий. – Взятая ею на себя роль внешнего спокойствия и выдержки.

I

После отъезда Вильямса и Понятовского и падения Бестужева Екатерина разлучена со всеми, кого случай и судьба свели с нею со времени ее приезда в Россию. Захар Чернышев находился при действующей армии. Сергей Салтыков, назначенный резидентом в Гамбурге, жил там как в изгнании. В апреле 1759 года Екатерина потеряла дочь. В следующем году

ее мать скончалась в Париже. Про эту смерть можно сказать, что она случилась вовремя. Принцесса Цербстская уже два года вела в Париже жизнь, не делавшую чести ее дочери и доставлявшую ей только много хлопот. На берегах Сены и даже дальше уже поднимались двусмысленные разговоры о поведении графини Ольденбургской. Под этим именем принцесса приехала во Францию в сопровождении французского дворянина Пуйи, с которым познакомилась в Гамбурге у его родственника Шампо, резидента короля в этом городе. Принцесса вместе с Пуйи совершила путешествие по Германии и Голландии и, несомненно, очень сблизилась с ним во время этих странствований. В Париже им пришлось расстаться: Пуйи уехал к родным в деревню. Графиня Ольденбургская, чтобы утешиться, писала ему почти ежедневно. Но она искала и других утешений. Письма ее – часть их напечатана – положительно прелестны. Их издатель Бильбасов находит, что, скорее, они, а не письма госпожи де Севинье служили литературным образцом для Екатерины. Возможно, он прав.

«Помните, что я вам писала еще вчера. А это письмо пусть будет вам запасом на завтра или на послезавтра! Итак, незаметно для себя я исполню ваше желание, и в конце концов выйдет так, что время от времени я буду писать вам каждый день... Вчера было первое представление новой оперы „Празднества Евтерпы“. Я сидела в парадной ложе короля с г-жой Ловендаль. Сколько взглядов было обращено на меня! И какие взгляды! Какое любопытство! Но они были снисходительны, и меня не освистали. Герцогиня Орлеанская появилась в грандиозных фижах, en grandissime paniergrande loge (sic!). Она производит впечатление довольно глуповатой. Накануне она была очень больна, почти при смерти. Опера ужасна: в ней нет никакого смысла; такой оперы еще не бывало. Мне понравились только Арно, Желэн, Вестэн и Лионе. Хотите либретто? Я вам пришлю его».

Это написано 9 августа 1758 года и очень напоминает слог Екатерины в ее посланиях, адресованных впоследствии Гримму. А вот еще описание Шуази, сделанное графиней Ольденбургской в том же стиле; оно любопытно:

«Что это за прелестный уголок для короля Франции! И какой хорошенький! Сколько в нем вкуса! О какой прекрасной душе свидетельствуют также нега и тишина этого места и всего этого дворца! Мне кажется, что сердце самого монарха запечатлелось тут. Людовик XIV все золотил, нагромождал слишком много украшений одно на другое. А здесь все изящно, хорошо, но не бьет в глаза. Это дом богатого частного лица. Здесь все живет. Все умеренно. Это волшебное место, созданное грациями, где царствует доброта, а тщеславие побеждается гуманностью. Одним словом, это сам Людовик XV».

Что касается содержания корреспонденции графини Ольденбургской, то оно также напоминает эпистолярные сношения Екатерины с ее «souffre douleur»²⁷. Это то же странное смешение самых разнородных сюжетов. Графиня Ольденбургская рассказывает своему другу историю России попеременно с описанием своих собственных злоключений. А их много! Инкогнито, под которым она скрывается, не мешает ей желать, чтобы ее дом был поставлен на придворную ногу. У нее есть дворцовый комендант, которого зовут маркизом Сен-Симоном, есть шталмейстер, маркиз Фолэн, камергер, фрейлины и т. д. Она выбирает себе для жительства роскошный дом, принадлежащий Шону. Она хочет иметь ложу в опере. Все это стоит денег, а между тем доходы герцогства Цербстского конфискованы Фридрихом. Остается Россия, на которую принцесса и спешит перевести все свои векселя, настаивая, чтобы Екатерина распорядилась уплатить по ним. Но векселя возвращаются в Париж опротестованными. Елизавета не хочет о них и слышать. Она не удостоивает даже ответом умоляющие письма кузины. Екатерина на письмо отвечает, но ответить также и на просьбы о деньгах не имеет власти. Затем принцесса страдает и от преследований, – в чем именно они состоят, она не говорит в своих письмах к Пуйи, – но они так мучат ее, что, по ее сло-

²⁷ «Козлом отпущения» (фр.).

вам, расстраивают ее здоровье. «Ей от этого не легче, а другие только выигрывают», – уверяет она. Будем верить ей на слово. К концу 1759 года она уже вся в долгах. Екатерина вместо помощи посылает ей несколько фунтов чаю и ревеню. Но эти подарки до принцессы не доходят. Она умирает 16 мая 1760 года. Всю ее переписку опечатывают. Опять новые волнения для Екатерины. Великая княгиня боится за репутацию матери; боится также и впечатления, которое могут произвести ее собственные письма, если, пересланные в Россию, они попадут не в ее руки, а в чужие. Но любезное вмешательство герцога Шуазеля устраивает все к лучшему. Бумаги принцессы по его приказанию внимательно просматривают и все ее любовные записочки и другие компрометирующие документы сжигают. Зато с долгом не так легко покончить. Есть минута, когда Екатерине грозит даже, что мебель и драгоценности ее матери будут проданы кредиторами с молотка. Но после небольшого сопротивления Елизавета соглашается наконец заплатить те 400 или 500 тысяч франков, которые поглотили жизнь в доме Шона, ложа в опере и другие парижские развлечения графини Ольденбургской.

Так порвалась последняя связь между дочерью принцессы Цербстской и ее родиной. Но теперь Екатерине уже нечего бояться одиночества в России. Вильямс замещен Кейтом. Этот последний старался, положим, заслужить главным образом милость великого князя. В противоположность своему предшественнику он находил Петра вполне подходящим для роли, которую заставлял его разыгрывать, – роли простого доносчика и шпиона. Петр действительно выказал здесь большие дарования. Его извращенный ум находил какое-то нездоровое наслаждение в этом низменном занятии. И вскоре услуги, которые он начал оказывать таким образом Англии и Пруссии и которым Фридрих посвящает благодарное воспоминание в своей «Истории Семилетней войны», стали известны всему Петербургу. Но все это не мешало Кейту ухаживать, между прочим, и за великой княгиней, ссужать ее деньгами, как это делал и Вильямс.

Понятовский в свою очередь нашел себе заместителя. Весной 1759 года в Петербург прибыл граф Шверин, флигель-адъютант прусского короля, взятый русскими в плен в битве при Цорндорфе (25 августа 1758 г.). Его встретили как знатного иностранца, приехавшего посетить столицу. Для простой формальности к нему приставлены в виде стражи два офицера. Один из них особенно отличился при Цорндорфе. Три раза ранен, но не покинул поле сражения. У него фаталистическая храбрость восточных народов. Он верил в свою судьбу. И он прав, веря в нее: это Григорий Орлов. Орловых было всего пять братьев в гвардейских полках. Высокий, как и его брат Алексей, одаренный такой же геркулесовской силой, Григорий выделялся красотой лица с правильными и нежными чертами. Он красивее Понятовского, красивее даже Сергея Салтыкова: гигант с головой, прекрасной, как у херувима. Но ангельского, кроме красоты, в нем ничего. Неумный и совершенно необразованный, он вел такой же образ жизни, как и все его товарищи по полку, но доводил его до крайности, проводя все свое время в игре, попойках и ухаживаниях за первой встречной. Всегда готовый на ссору и на то, чтобы снести голову обидчику, он не боялся жертвовать жизнью, когда у него не было для расплаты другой монеты; смело ставил на карту все свое состояние, тем более что терять ему нечего; всегда казался подвыпившим, даже в минуты, когда случайно был трезв; горел неутолимой жадностью к всевозможным наслаждениям; приключений искал со страстью и жил в каком-то непрерывном безумии. Таков человек, входивший в жизнь будущей императрицы. Объединяя для нее в своем лице интересы политики и любви, он долгое время занимал в ее уме и сердце если не первое, то, наверное, второе место. Первое она отдавала честолюбию. В характере Григория Орлова, который мы обрисовали здесь, мало черт, подходящих для героя романа; но в нем нет ничего, что могло бы оттолкнуть Екатерину. Она сама всю жизнь любила приключения и потому снисходительно смотрела на искателей их. «Безудержная смелость», которую она открыла в себе однажды в разговоре с маркизом Лопиталем, вполне подходила к неустрашимости Григория Орлова. У него одно

ценное качество, более ценное, чем красота, и более могущественное, чем ум, которое долгое время казалось самым привлекательным из всех в глазах Екатерины; оно как бы подчиняло ее своей чарующей власти, прельстило ее впоследствии и в Потемкине, так что она на длинный ряд лет привязалась к этому некрасивому, кривому и косоглазому циклопу: Орлов полон молодечества и удали.

Кенигсберг, где стояли русские войска, надолго сохранил воспоминание о его пребывании там и о всевозможных похождениях этого человека, умевшего блестяще прожить жизнь. В Петербурге он не изменил своих привычек. В 1760 году получил завидное место адъютанта при генерал-фельдцейхмейстере. Этот пост занимал граф П. И. Шувалов, двоюродный брат всемогущего фаворита Елизаветы. Благодаря своему новому положению, Орлов оказался на глазах у всех. У Шувалова была любовница, княгиня Елена Куракина, красота которой восхищала Петербург. Орлов сейчас же стал соперником своего начальника и победил его. Этим он обратил на себя всеобщее внимание, в том числе и Екатерины. Но он чуть не расплатился дорого за свою победу. Шувалов не тот человек, который способен простить подобную обиду. Однако вера Орлова в свою счастливую звезду и на этот раз не обманула его: Шувалов скончался, не успев отомстить. Екатерина продолжала интересоваться молодым человеком, рисковавшим жизнью за улыбку прекрасной княгини. Притом случайно Орлов занимал дом, расположенный напротив Зимнего дворца. И это тоже способствовало его сближению с Екатериной.

Кроме того, этот отважный и обаятельный офицер не мог не пользоваться большим влиянием в той среде, где жил. А эта среда в глазах русской великой княгини, решившейся «идти самостоятельным путем», должна была иметь первенствующее значение. В своих «Записках...» Екатерина несколько раз упоминает о стремлении, будто появившемся еще очень рано и никогда не покидавшем ее, — снискать любовь элемента, который она признавала своей истинной и единственной опорой в России: она называет этот элемент русским обществом. Она постоянно тревожится о том, что это общество скажет или подумает о ней. Она старается расположить его в свою пользу, хочет, чтобы оно привыкло в случае надобности рассчитывать на нее и чтобы сама она в свою очередь тоже могла на него рассчитывать. Но это — странная манера выражаться, которая может даже вызвать сомнения в подлинности документа, где мы читаем эти признания Екатерины. В те годы, когда она писала свои «Записки...», она не только не считалась с этим элементом, будто бы так высоко ценившимся ею за тридцать лет до того, но должна была убедиться, что его в России не существовало, по крайней мере в том значении и в той роли, которые она ему приписывала. Где бы она стала искать общество, то есть социальное коллективное целое, одаренное умом и волей и способное рассуждать и действовать сообща? Его не было вовсе. Вверху стояла группа чиновников и придворных, одинаково раблепных по всей иерархической лестнице «чина» и различавшихся только в степенях человеческой низости; они дрожали от одного взгляда и простым мановением руки могли быть низвергнуты в бездну; внизу — народ, то есть громадная масса мускульных сил, которые выносили на себе всю тяготу барщины и за которыми душа признавалась лишь как единица меры при подсчете инвентаря; а между ними не было никого, если не считать духовенства — силу значительную, но замкнутую в себе, мало поддающуюся влиянию, способную воздействовать скорее сверху вниз, нежели снизу вверх, и совершенно непригодную в смысле орудия для достижения какой-либо политической цели. Не эти люди оказали поддержку Елизавете и возвели ее на престол. Но был же ведь все-таки в России кто-то, кто помог ей тогда силой занять трон! Этот кто-то мог, следовательно, проявлять свою власть и деятельность независимо от тех трех сословий, не имевших никакого значения! И то была армия.

Екатерина полюбила Григория Орлова за красоту, смелость, громадный рост, за молодецкую удаль и безумные выходки. Но полюбила и за те четыре гвардейских полка, которые

он и его братья, по-видимому, крепко держали в своих железных руках. Он же в свою очередь не оставался слишком долго у ног княгини Куракиной. Этот человек не боялся метить и выше, в особенности если ему с этой высоты посылали ободряющие улыбки. Но зато он и не умел делать тайны из своих увлечений. Афишировал княгиню Куракину, не заботясь о том, что скажет генерал-фельдцейхмейстер. С той же непринужденностью он стал афишировать теперь великую княгиню. Но Петр ничего не сказал: он был слишком занят другими делами; Елизавета тоже ничего не сказала: она умирала. А Екатерина не мешала Орлову: не имела ничего против того, что уже не в одной казарме стали соединять в разговорах ее имя с именем красавца Орлова, которого обожали офицеры и за которого солдаты готовы были броситься в огонь и в воду. Позже, в августе 1762 года, она писала Понятовскому: «Остен вспоминает, как Орлов всюду следовал за мной и делал тысячу безумств; его страсть ко мне была публична».

Ей нравилось преследование Орлова. Этот буйный и шумливый в проявлениях чувства солдат должен был казаться ей несколько грубоватым после Понятовского. Но недаром она обрусела. Любовь к таким контрастам и даже потребность в них лежали в характере русского народа того времени, только что приобщившегося к скороспелой цивилизации; а этот народ стал ее народом, и она понемногу так слилась с ним, что его душа, даже в самых своих тайниках, сделалась ее душой. Прожив несколько месяцев среди самой изысканной и чарующей роскоши, Потемкин садился, бывало, в кибитку и делал по три тысячи верст в один переезд, питаясь в дороге сырым луком. Екатерина не разъезжала в кибитках, но зато в любви тоже охотно переходила от одной крайности к другой. После Потемкина, этого дикаря, она пленилась Мамоновым, общество которого сам принц де Линь находил для себя приятным. И теперь страсть грубого, неотесанного русского поручика послужила ей как бы отдыхом от утонченного ухаживания изнеженного польского дипломата.

Впрочем, Вольтер, Монтескьё и французская литература не пострадали от этого. Как раз в это же время Екатерина сошлась впоследствии со столь знаменитой и доставившей ей немало хлопот княгиней Дашковой. Из трех дочерей графа Романа Воронцова, брата вице-канцлера, княгиня Дашкова младшая. Старшая, Мария, вышла замуж за графа Бутурлина; вторая, Елизавета, мечтала по временам выйти замуж за великого князя. Это была фаворитка. Императрица назвала ее как-то в насмешку маркизой Помпадур, и за ней при дворе так и осталось это прозвание. Третьей, Екатерине, было пятнадцать лет, когда великая княгиня встретила ее впервые, в 1758 году, в доме ее дяди, графа Михаила Воронцова. Молодая Воронцова не знала тогда ни одного русского слова, говорила исключительно по-французски и прочла на этом языке все книги, которые только могла найти в Петербурге. Она чрезвычайно понравилась Екатерине. Став вскоре женой князя Дашкова, молодая женщина последовала за ним в Москву, и Екатерина на два года потеряла ее из виду. Но в 1761 году княгиня Дашкова вернулась в Петербург и заняла на лето принадлежавшую ее дяде Воронцову дачу, расположенную на полпути между Петергофом, где жила императрица, и Ораниенбаумом, местом обычного летнего пребывания великого князя и великой княгини. Каждое воскресенье Екатерина ездила в Петергоф повидаться с сыном, которого Елизавета по-прежнему не отпускала от себя. Возвращаясь домой, Екатерина часто заезжала на дачу Воронцовых, увозила с собой свою молодую подругу и проводила с ней остальную часть дня. Они говорили о философии, истории и литературе; касались самых важных научных и социальных вопросов. Может быть, они не избегали и более веселых тем, но вообще эти две женщины, из которых одной едва тридцать лет, а другой еще не исполнилось двадцати, редко вдвоем смеялись. Великая княгиня переживала в то время слишком тревожные дни, а у княгини Дашковой всегда был угрюмый характер. Впоследствии Екатерина находила ее общество менее приятным, и в конце концов оно стало даже вовсе ей ненавистно. Но в то время будущая Семирамида довольна, найдя человека, с которым могла говорить о предметах совер-

шенно неинтересных и недоступных красавцу Орлову. Екатерину прельщало и то, что она в русской женщине, с чисто русским умом, нашла отблеск, правда бледный, той западной культуры, которую она, в смутных мечтаниях о будущем, решила насадить в этой громадной и варварской стране. И эта маленькая семнадцатилетняя особа, успевшая уже прочесть Вольтера, для Екатерины ценная находка, ее первая победа в деле пропаганды, которым она задалась. Затем, княгиня Дашкова, русская аристократка и по происхождению, и по браку, принадлежала к двум влиятельным семействам. Это тоже имело свою цену. Наконец, под лоском образования, напоминавшего собственное образование Екатерины, такого же разнородного и неполного, среди случайных и отрывочных идей и знаний, почерпнутых Дашковой из проглоченных книг, Екатерина открыла в своей подруге страстную и пылкую душу, всегда готовую на риск. Демон безумной отваги, живший в громадном, атлетическом теле ее нового любовника и избранника, не чужд и этой хрупкой на вид девочке. И Екатерина пошла рука об руку с ней до того дня, когда решилась судьба одной из них.

Ни Орлов, ни новая подруга не восполнили Екатерине потерю Бестужева. Этот опытный государственный деятель и мудрый советник требовал себе заместителя. И Екатерина нашла его в лице Панина. Панин – политический ученик бывшего канцлера. Десять лет назад Бестужев даже намечал его в фавориты Елизавете. Панин тогда красивый молодой человек двадцати девяти лет, и царица поглядывала на него далеко не равнодушно. Но Шуваловы, которые считали место фаворита как бы своей неотъемлемой и родовой привилегией, заключили с Воронцовыми союз против Бестужева и взяли над ним верх. По словам одного свидетеля, хорошо осведомленного (Понятовского, в его «Записках...»), Панин допустил крупную неловкость: он заснул в дверях ванной императрицы, вместо того чтобы войти туда в удобную минуту. Его послали в Копенгаген, потом в Стокгольм, где он играл довольно важную роль, принимая деятельное участие в борьбе против французского влияния. Но при перемене внешней политики, когда Россия и Франция оказались в одном лагере против общих врагов, его пришлось отозвать в 1760 году. Елизавета решила назначить его на пост воспитателя великого князя Павла, остававшийся свободным после отставки Бехтиева. Шуваловы ничего не имели против этого. Единственный обладавший в их глазах значением пост занят теперь, после Александра Шувалова, потом Петра Шувалова, его брата, их двоюродным братом Иваном Шуваловым. Ивану Шувалову только тридцать лет, и постаревший Панин казался уже неопасным для него.

Человек холодного, методического ума и беспечного ленивого нрава, – эта беспечность с годами еще усилилась в нем – Панин, казалось, создан для того, чтобы служить противовесом восторженным и пылким людям, которыми окружила себя Екатерина. Его политические идеи уже потому только сблизили его с великой княгиней, что он не разделял прусских симпатий великого князя. Он оставался «австрийцем», как и Бестужев. Станный характер Петра тоже пугал его, тем более что ему вскоре пришлось лично от него пострадать. Панин много беседовал с Екатериной. А о чем можно беседовать в то время, как не о событии, казавшемся все более близким и начинавшем даже на противоположном конце Европы волновать все умы? Елизавета умирала, и смерть ее не в одном только Петербурге должна послужить сигналом к политическому перевороту неимоверной важности. Результаты борьбы, завязавшейся между великими державами, всецело зависели от этой случайности будущего. После взятия Кольберга (в декабре 1761 г.) несколько лишних месяцев, предоставленных совместным действиям русских и австрийских войск, вызвали бы неизбежную и верную гибель Фридриха. Победенный при Гросс-Егерсдорфе и Кунерсдорфе не строил себе никаких иллюзий на этот счет. Но в то же время всем ясно, что восшествие на престол Петра III положило бы конец союзной кампании, направленной против прусского короля.

Панин тоже задумывался над этой проблемой и хотя и не решал ее в смысле, вполне согласном с тайными властолюбивыми мечтами Екатерины, но, во всяком случае, находил

нужным защищать ее интересы против враждебных ей замыслов, глухо зарождавшихся у постели умирающей императрицы. Согласно свидетельству, внушающему доверие, Воронцовы хотели ни больше ни меньше как развести Екатерину с Петром и объявить незаконным рождение маленького Павла. После этого наследник Елизаветы мог бы жениться на фрейлине Воронцовой. К счастью для Екатерины, эти слишком честолюбивые стремления возбудили опасения и соперничество со стороны Шуваловых, которые, впадая в противоположную крайность, намеревались выслать Петра в Германию и немедленно возвести на престол Павла при регентстве Екатерины. Панин занимал среднее положение между этими двумя враждебными лагерями, высказываясь за законный порядок вещей; он рассчитывал обеспечить таким образом и Екатерине и себе возможность благотворно влиять на будущее правление племянника Елизаветы. Екатерина выслушивала его, но ничего не говорила. У нее собственные планы, и она подолгу беседует и с Орловыми.

II

Елизавета скончалась 5 января 1762 года, оставив в силе завещание, по которому Петр должен ей наследовать. Да и имела ли она намерение изменить его в том или другом смысле? Это вопрос темный.

«Всеобщее желание и убеждение, – писал барон Бретейль в октябре 1760 года, – что она возведет на престол маленького великого князя, которого, по-видимому, страстно любит».

Месяц спустя Бретейль рассказывает следующее: «Однажды, когда великий князь уехал на день в деревню на охоту, императрица неожиданно приказала, чтоб в ее театре дали русскую пьесу, и, против обыкновения, не пожелала пригласить ни иностранных послов, ни придворных, которые всегда присутствуют на таких спектаклях; вследствие этого императрица явилась в театр только с небольшим числом лиц ближайшей свиты. Молодой великий князь был вместе с ней, а великая княгиня, единственная из всех получившая приглашение, тоже пришла в свою очередь. Как только началось представление, императрица стала жаловаться на то, что в зале мало зрителей, и велела раскрыть двери для гвардии. Театр сейчас же наполнился солдатами. Тогда, по свидетельству всех присутствовавших, императрица взяла на колени маленького великого князя, чрезвычайно ласкала его и, обращаясь к некоторым из тех старых гренадер, которым она обязана своим величием, как бы представила им ребенка, говорила им, каким он обещает быть добрым и милостивым, и с удовольствием выслушивала в ответ их солдатские комплименты. Эта сцена кокетничания продолжалась почти весь спектакль, и великая княгиня все время имела очень довольный вид».

Но, если верить свидетельству, о котором мы говорили выше, Панин, делая вид, что становится на сторону Шуваловых, в последнюю минуту обманул их: он ввел к императрице монаха, который убедил ее примириться с Петром. Но вернее всего, что Елизавета не могла или не сумела решиться на этот крайний шаг. К концу царствования она, несомненно, ненавидела племянника, но любовь к собственному покою все-таки превозмогла это. Поэтому смерть ее, просчитанная всеми еще за несколько лет вперед, легко могла вызвать революцию против этого последнего решения ее колеблющейся и расшатанной развратом воли. Барон Бретейль писал по этому поводу:

«Когда я думаю о ненависти народа к великому князю и заблуждениях этого принца, то мне кажется, что разыграется самая настоящая революция (при смерти императрицы); но когда я вижу малодушие и низость людей, от которых зависит возможность переворота, то убеждаюсь, что страх и рабская покорность и на этот раз так же спокойно возьмут в них верх, как и при захвате власти самой императрицей».

Так и случилось. Если верить Вильямсу, Екатерина еще за пять лет решила, что будет делать после смерти Елизаветы.

«Я иду прямо в комнату моего сына, – будто бы сказала она. – Если встречу Алексея Разумовского, то оставляю его подле маленького Павла; если нет, то возьму ребенка в свою комнату; в ту же минуту я посылаю доверенного человека дать знать пяти офицерам гвардии, из которых каждый приведет ко мне пятьдесят солдат... В то же время я посылаю за Бестужевым, Апраксиным и Ливеном, а сама иду в комнату умирающей, где заставлю присягнуть командующего гвардией и оставляю его при себе. Если я замечу малейшее движение, то арестую Шуваловых». Она прибавляла, что у нее было уже свидание с гетманом Кириллом Разумовским и тот отвечал за свой полк и ручался привести к ней сенатора Бутурлина, Трубецкого и самого вице-канцлера Воронцова. Она осмелилась будто бы даже написать Вильямсу: «Иоанн Васильевич (царь) хотел уехать в Англию; но я не намерена просить убежища у английского короля, потому что решилась или царствовать, или погибнуть».

Но верить ли в данном случае Вильямсу? По словам аббата Шаппе д'Отроша, новая императрица явилась в роковую минуту совершенно в другом свете. Французский историк рисует ее нам бросающейся к ногам супруга и выражающей готовность служить ему, «как раба его царства».

Екатерина очень рассердилась, когда узнала впоследствии про этот рассказ, и с необыкновенным жаром старалась опровергнуть его правдивость. Читатель извинит нас, если мы сами не выскажемся окончательно на этот счет.

Но как бы то ни было, Петр совершенно мирно вступил в управление своим государством. Царствование его не замедлило оправдать всеобщие ожидания. За границей России Фридрих вздохнул свободно и по праву мог считать себя спасенным смертью Елизаветы. В самую же ночь своего восшествия на престол Петр разослал гонцов в различные корпуса русской армии с приказом прекратить неприятельские действия. Войска, занимавшие Восточную Пруссию, должны прекратить свое наступательное движение; те, что стояли вместе с австрийской армией, – немедленно отделиться от нее. Кроме того, и тем и другим отдано повеление сейчас же заключить перемирие, если только его предложат прусские генералы. В то же время император послал к Фридриху камергера Гудовича с собственноручным письмом, свидетельствовавшим о его дружелюбных намерениях. Затем ряд быстро чередовавшихся распоряжений и публичных демонстраций возвестил всем о коренной перемене во внешней политике и симпатиях императора. Даже актеры французского придворного театра высланы вон, не получив при этом никакого обеспечения! Наконец, декларация, переданная в феврале представителям Франции, Испании и Австрии, показала им, чего они могли ожидать от нового правительства: Петр без всяких церемоний отворачивался от союзников. Он объявил свое намерение заключить с Пруссией мир и советовал им поступить так же. Сцена, о которой барон Бретейль картинно рассказывает в своей депеше, два дня спустя подчеркнула это последнее предупреждение императора. Она разыгралась 25 февраля 1762 года на ужине у канцлера Воронцова. За столом сидели с десяти часов вечера до двух утра. Петр, говорит Бретейль, «все время буйствовал, пил и молот вздор». К концу ужина он встал, покачиваясь, и, повернувшись к генералу Вернеру и графу Гордту, провозгласил тост за прусского короля. «Теперь уже не то, что было в последние годы, – прибавил он. – И мы вскоре еще иное увидим!» В то же время он перекидывался «улыбками и намеками» с Кейтом, английским посланником, которого называл «своим дорогим другом». В два часа утра гости перешли в залу. Здесь вместо ломберного стола для обычной игры в фараон стоял громадный стол, заваленный трубками и табаком. Чтобы угодить императору, надо закурить и не выпускать трубку изо рта в течение нескольких часов, попивая в то же время английское пиво и пунш. Однако после довольно продолжительного совещания с Кейтом его величество предложил сыграть в «samrì». «Это особая игра, – объясняет Бретейль, – вроде „chat qui dort” или „as qui court”». Во время игры император подозвал к себе барона Поссе, шведского посланника, и пытался убедить его, что декларация, только что провозглашенная Швецией,

тождественна с русской. Она имеет целью только обратить внимание союзников на затруднения, которые они встретят, если будут продолжать войну, возразил Поссе.

«Надо заключать мир, – ответил на это император. – Что касается меня, то я хочу этого».

Игра между тем продолжалась. Барон Бретейль проиграл несколько червонцев принцу Георгу Голштинскому, дяде царя, с которым он в течение своей прежней боевой карьеры встречался когда-то на полях битвы в Германии.

«Ваш старый противник победил вас!» – воскликнул сейчас же Петр со смехом. И продолжал хохотать и повторять без конца свою фразу, как обыкновенно делают пьяные. Барон Бретейль, несколько озадаченный, выразил уверенность, что ни ему лично, ни Франции никогда уже больше не придется сражаться с принцем. Царь ничего не ответил, но через несколько минут, видя, что граф Альмодовар, представитель Испании, тоже проигрывает, наклонился к французскому посланнику и сказал ему на ухо: «Испания проиграет». И опять засмеялся. Барон Бретейль едва владел собой. Но, призвав на помощь все свое хладнокровие, он ответил с достоинством: «Не думаю, государь». И стал доказывать императору, что силы Испании и Франции, соединенные вместе, представляют собой внушительную величину. Вместо ответа император произносил только насмешливые: «а-а!» Но когда французский дипломат сказал в заключение: «Если вы, ваше величество, останетесь верны принципам союза, как вы обещали и должны это сделать согласно данному вами обязательству, то мы, Испания и Франция, можем быть спокойны», – Петр уже не мог сдержаться. Он пришел в ярость и грубым голосом прокричал: «Я вам объявил уже два дня тому назад: я желаю мира!» – «И мы также, государь. Но мы хотим, как и ваше величество, чтобы этот мир был почетным и согласным с интересами наших союзников». – «Как знаете. Что до меня, то я желаю мира во что бы то ни стало! А потом поступайте как хотите. *Finis coronat opus*²⁸. Я солдат и не люблю шутить».

²⁸ Конец венчает дело (*лат.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.